Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 2

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ – 95

Вячеслав ЗАЙЦЕВ. *Стихи* 4
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. **Один из «сороковых, пороховых»…** 11
Марат ШАФИЕВ. **Памяти В.П.Зайцева** 13
Надир АГАСИЕВ. **Москвич из Чемберекенда** 15

ПРОЗА

Орхан ФИКРЕТОГЛУ. **Изгой.** *Повесть* 23
Марина МУРСАЛОВА. **Я буду ждать тебя вечно.** *Рассказ* 96
Аяз МАМЕДОВ. *Рассказ* 116
Ровшэн КАФАРОВ. **Ромашки в сырой ветоши.** *Рассказ* 129

ПОЭЗИЯ

Таира ДЖАФАРОВА. *Из женской лирики Азербайджана* 75
Елизавета КАСУМОВА. **Ходжалы** 95
Таир ТАИСОГЛУ. *Стихи* 123

ПУБЛИЦИСТИКА

Иса ГАБИББЕЙЛИ. **Вечный могиканин литературы** 16
Вилаят ГУЛИЕВ. **Мирза и Эмирзаде** 84
Сиявуш МАМЕДЗАДЕ. **Слово прощания** 132

Главный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,*** **Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ**

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-86-04; 493-75-81

Сдано в печать 22.01. 2019.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2019 г.

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ – 95

Каспий

Твоего мятежного нрава
не хватает мне, Каспий.
Это
наивысшее в жизни право
не любому дано поэту.

Прославляю
раскованность духа:
эти всяческие непогоды.
Ты на север холодный
и к югу
волны шлешь,
словно войско
в походы.

Равнодушное время, однако,
старит мир,
а само не стареет.
Из воды
проступившие наго,
берега твои, Каспий,
мелеют.

Но душа
остается свободной,
как свободен
крылатый ветер.
И ничто ей не страшно
на свете,
презирающей мелководье.

Жаждет гроз беспокойное сердце,
бьет волна за волной
в побережье.
И в глазах твоих сумрачно серых
вечно
солнце далекое
брезжит.

На берегу

Погрустить у моря – каждый вправе,
Стоит ли об этом говорить! –
Слушать, как шумит о чем-то гравий,
и молчать,
и думать,
и курить.

И смотреть,
как тает постепенно
за рыбацким сейнером дымок...
Набежит волна,
вскипая пеной,
и, как пес,
уляжется у ног.

Вот и мы порой,
как эти волны,
все спешим куда-то, все спешим,
а потом оглянемся невольно –
тает пена легкая,
как дым...

Погрустить у моря – это дело:
даль видней
и тишина слышней...
Но куда-то чайка пролетела,
и душа метнулась
вслед за ней!..

Слово

Меня преследуют слова,
Они гудят, как жернова.
И в этом хаосе и гуле
Вдруг возникает, как во сне,
Одно,
Как снайперская пуля,
Предназначаемое мне.

Но нет,
Оно не убивает.
В часы моих привычных мает
Я с ним – почтительно, на Вы:

Придет оно,
и оживает
Всё –
От звезды и до травы.

Баллада о песках

Горячие ветры...
Воды бы глоток!..
Как золото, плавится
знойный песок.
Куда ты,
куда ты,
наемный солдат?
Дорога уперлась
в кровавый закат!
О чем тебе каркает
ворон-вещун,
чернея на гребне
оранжевых дюн?
Зрачок автомата
тревожно молчит,
сердце, как молот,
о ребра стучит...
Здесь золота нету –
голодный песок.
Предчувствует пулю
холодный висок...

Чужая пустыня,
чужая страна.
Звезды, как угли...
Полночь черна...
«За что мы воюем
в проклятых песках,
в удушливых,
огненных,
жгучих тисках?»

... Три вспышки!..
Три пули.
Три дырки во лбу,
три ямы,
три тела
в песчаном гробу.

Три черепа белых
в сыпучих песках,
три черепа белых,
три дырки в висках.

Куда ты,
куда ты,
наемный солдат?
Безмолвие...
Нету дороги назад.

***

Ничего, промолчу... И не буду
возвращаться
и в мыслях
к тебе,
как нелепую ссору забуду,
как пустую ошибку
в судьбе.

Ничего, промолчу... А иначе
хлынет горлом
немая тоска,
на песок упаду
и заплачу
у следов
твоего башмачка.

***

И властна, и бессильна мимолетность,
Изменчива и призрачна мечта.
Как живописца – новые полотна,
Нехоженые вас влекут места.

Как впечатленья наши скоротечны!
Неуловим свершенья краткий миг,
Влекущий нас обманчивостью вечной,
К которой ты привык и не привык.

Нам кажется, но только на мгновенье,
Что близко и доступно торжество.
Оно исчезнет, как по мановенью,
Едва-едва почувствуешь его.

Вот так рассвет, готовый хлынуть в стекла,
Померкнет, набежавшей тучей скрыт,
И смотришь – все погасло и поблекло,
И снова ожидание томит.

А жизнь тебе сулит уже иное,
Иных стремлений светятся огни,
И снова в нас желанье озорное –
Вблизи увидеть, как горят они.

И ты спешишь туда, завороженный,
К туманным звездам счастья своего,
Мечтатель, от земли не отрешенный,
Достигнувший всего и ничего.

***

Еще один выходит из игры,
Игры в таинственные обольщенья,
В надежды, заблужденья, сожаленья,
В которой нам везет
Лишь до поры.

Все так.
Но продолжается игра.
Нас время судит
В рамках строгих правил.
Нет, мы с тобою возразить не вправе.
И завтра так,
И нынче,
И вчера.

Еще один выходит из игры...
Так, милый мой, заведено судьбою.

И мы порой не властны над собою,
Как малые песчинки,
Как миры...

Дни

Не отдавая предпочтений
Ни одному из прошлых дней,
Люблю и тень, и полутени,
И яркий свет в судьбе моей,
И торжество житейской прозы,
Всечасной нашей суетни.
Есть дни счастливые,
И просто
Не состоявшиеся дни..

Им всем,
Моим знакомцам старым,
Веселым и печальным дням,
Я неизменно благодарен,
Как уезжающим друзьям.
За то, что даже в самый черный,
Когда не ладится с утра,
Я был тревожно, безотчетно
Томим предчувствием добра,
Каким-то, может быть, неясным
И неосознанным подчас
Желанием простым и властным,
Которое сильнее нас.

Оно всегда во мне таится,
Как луч в кристаллике кольца.
Оно, как сказка, длится, длится,
А все далёко до конца.

В двадцать

Двадцать было мне.
И жутко,
и весело.
Винтовка на ремне
Сорок жизней весила.

Легка
и тяжела,
Как первая награда.
А что в ней? –
Вес ствола,
Да ложа, да приклада.

Хоть был я новичок,
Стрелял не наудачу.
С тех пор хранит плечо
Тяжелую отдачу.

Летит за годом год,
Песком сквозь пальцы льется,
И каждый выстрел тот
В сердце отдается.

Окрыленность

На самом деле все ясней и проще:
Есть травы и тропинки под ногой,
На горизонте пламенеет роща
Под радугой, как грива под дугой.

На самом деле чуда никакого,
И никакого таинства – ни в чем:
Ложится снег в осенний след подковы,
А в оттепель становится ручьем.

На самом деле все ясней и проще,
Я сказочного чуда не ищу,
Мы стали реалистами. А впрочем,
Себе и вам я этот грех прощу.

И невезенье – тоже вещь простая,
Все объяснимо, как там ни темни:
Мы постепенно бытом обрастаем,
Но вот признаться – боже сохрани!

И только озорную окрыленность
Я объяснить словами не берусь:
Себя я в солнце чувствую влюбленным
И ничего на свете не боюсь.

****

Ни дьявола, ни чёрта не боялся,
Беспечен был,
А мне казалось – смел,
Все на земле, считал я, – постояльцы.
И потому претензий не имел.

Над чьею-то удачей потешался,
Над невезеньем собственным шутил.
Позднее –
Оглянуться не решался,
Ну, а теперь –
Уже не стало сил.

Не накопил
Ни песен и ни денег,
Томов не написал,
Сберкнижек нет:
Все начисто подмел
Веселья веник
И только время усмехнулось вслед...

Но жизнь была
Не тур веселый вальса.
И вот в итоге – грустный час настал.
Вот так всю жизнь свою и просмеялся,
Прокуролесил
и прохохотал.

****

Весь день смотрю на серые деревья,
На серые деревья за окном,
На деревянной изгороди гребни,
На серый сад, объятый серым сном.

Такая у меня работа что ли:
Смотрю на эту серую тщету,
На край сарайчика, обитый толью,
И уношу весь этот мир в мечту...

Неслышно капли падают с карниза,
К углу сарая жмется серый кот...
И каждый день –
Как в детстве ждут сюрприза –
Чего-то жду...
И так который год.

***

Был синеглаз,
доверчив,
весел,
Беду, как воск,
В душе топил.

И только пепел,
только пепел...
И это все,
что я
скопил.

Но равнодушья
Снег холодный
Углей в золе
не остудил.

Мой вечный дух,
Мой дух голодный,
Пари
средь огненных светил!

***

С четырех сторон,
С четырех сторон
Надвигается время моих похорон,
Надвигается,
Приближается,
Подо мной земля обнажается.

Затеряюсь в ней,
Как иголочка,
Буду видеть свет
Через щелочку.

Надо мной взойдут,
Как немой упрек,
Два прямых бруска,
Сбитых поперек.

И останется
Только синь времен,
Только синь времен,
С четырех сторон.

Только синь времен
И останется,
Остальное все –
Вам достанется.

***

Милый мой человек,
Не ищи глубины откровенья,
Жизнь прекрасна,
Как смех
Над глухой немотою
Забвенья.

Сосны тянутся ввысь
К беспредельному
Звездному небу
И снежинки зажглись,
Отвергая грядущую небыль.

Светом жизни полны
Юных женщин
Несмелые груди.
Греет нежность весны
Даже мертвые столбики ртути.

Милый мой человек,
Ничему не ищи оправданья.
Жизнь прекрасна,
Как грех,
Как предчувствие,
Как ожиданье.

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Один из «сороковых, пороховых»: Вячеслав Петрович Зайцев

Редакция «Литературного Азербайджана» предложила мне поделиться воспоминаниями о Вячеславе Петровиче Зайцеве, с которым мне довелось сотрудничать много лет. Внешне это выглядело как ежедневные встречи на третьем этаже здания Союза писателей Азербайджана; позднее редакция перебралась к Баксовету, на тогдашнюю Коммунистическую улицу (теперь улица «Истиглалият»). Мы дождались окончания ремонта и вернулись «домой», на улицу Хагани, 25.

Я поступил на работу в «Л.А.» в шестидесятые годы, окончив филфак в Азгосуниверситете и Литинститут имени Горького в Москве. А Вячеслав Петрович имел позади биографию фронтовика, несколько лет работал в «Бакинском рабочем» – выдающейся печатной трибуне республики в те годы. На поколение фронтовиков я, молодой городской юноша, «не нюхавший пороха», всегда смотрел снизу вверх, с почтением.

Были в редакции и другие фронтовики: Иван Поликарпович Третьяков, Иосиф Борисович Оратовский. И.П. Третьяков писал прозу и выдвинулся в ряды всесоюзно известных военных писателей; Иосиф Борисович издал при жизни всего одну книжку в Москве, где признавался со скромным достоинством воина-солдата: «Воинская часть, где

я служил, не брала больших городов». Вячеслав Петрович Зайцев не успел добраться до московской трибуны, обеспечивавшей огромный тираж и миллионы читателей.

Тогда мы были Советским Союзом, и пишущих стихи на русском языке было множество; в военной лирике появлялись образцы, ставшие хрестоматийными шедеврами: К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, Д. Самойлов и многие другие мастера слова. После войны в советскую поэзию пришла мощная плеяда «шестидесятников»; у нас, в Азербайджане, в эту когорту талантливейших вошли азербайджанские поэты Фикрет Годжа, Рамиз Ровшан, И. Исмаилзаде и другие; конечно, в этом же ряду мы видели и самобытного и яркого Али Керима.

Воинская часть, где служил В. П. Зайцев, «не брала больших городов» (как писал И. Б. Оратовский). Вячеслав Зайцев не вышел на всесоюзную орбиту, но война прошла через всю его лирику.

Он родился в Москве, в раннем детстве его семья переехала в Баку, потом был фронт, боевые дороги и возвращение в Баку; как оказалось, надолго, на всю жизнь. Зайцев овладел азербайджанским языком и даже в его речи проступала лексика бакинского «чемберекендского» говора. Азербайджан «врастал» в его поэзию ритмом нефтяных промыслов, особым колоритом старого Баку с его многонациональной полифонией...

И сошлись, как борта киржима,
Юг и Север – мои края,
Оттого и нерасторжима
Неделима Отчизна моя...

Вячеслав Петрович – был открытый человек, с распахнутой по-русски душой; и при всей своей переимчивости к иноязычной среде, он трепетно хранил свою любовь к русским корням, русской духовной почве.

Несколько лет я был причастен к работе отдела поэзии. Времена настали трудные – для всей республики и для нас: распался Союз, вспыхнул конфликт в НКАО; Зайцев страдал нездоровьем, у него произошло прободение желудка; к тому времени журнал уже временно перебрался в здание напротив Баксовета (ремонт!).

Я запомнил Зайцева, сидящего в комнате на 5-м этаже; спрашиваю о самочувствии и получаю однозначный ответ – В.П. не любил «плакаться в жилетку». К тому времени у нас сложились добрые товарищеские отношения (несмотря на разницу в возрасте). Мы, как говорится, съели пуд соли в редакционных «междусобойчиках», я участвовал в них как третье лицо – вторым был незабвенный Мансур Векилов, прекрасный поэт, достойный друг; его дружба с Зайцевым остается поныне для меня легендарным примером душевной привязанности и понимания.

Но я хочу рассказать о случае, характеризующем натуру Зайцева.

Однажды он поздней ночью позвонил мне домой и предложил отправиться вместе на бакинский вокзал. Я отнекивался, ссылаясь на позднее время и неизбежную тревожную реакцию моей уже уснувшей жены. Зайцев настаивал, судя по голосу, он был совершенно трезв. В нем говорила какая-то невнятная тоска. Я бы сказал, тоска купринского героя из повести «Поединок» – Ромашов ходил на вокзал и подолгу смотрел на пассажирские составы, уходящие в большую жизнь. Позже под впечатлением ночного звонка Зайцева я написал стихотворение. Но я упоминаю об этом факте, который говорит об одиночестве Зайцева.

Еще один эпизод из нашего общения. По предложению В.П. Зайцева я редактировал сборник его стихов в бакинском издании. Я «споткнулся» на строфе из стихотворения о пережитой страной войне с гитлеровской Германией.

О, заплаканные мамы,
О, убитые отцы!
Стёрты каменные шрамы
Нашей старой улицы...

Эти «улицы» – напрашивалось ударение на «цы», этого требовала рифмовка. Отцы-цы... Я сказал Зайцеву об этом. Он возражал, причем решительно и категорично. Я не стал в позу редактора-буквоеда. В конце концов, строка осталась в версии автора. Теперь я думаю, что, наверное, я был прав, не навязывая Зайцеву своего решения.

Вячеслав Петрович источал тепло и душевную доброту. Он видел войну, смерть и гибель товарищей на поле брани. Фронтовые пути его пересеклись с Зией Буниятовым, Героем Советского Союза. Зия Буниятов иногда заглядывал в нашу редакцию. С Зайцевым он общался на «ты». Это говорило о высоком доверии, которого Зия-муаллим удостаивал далеко не каждого человека...

МАРАТ ШАФИЕВ

Памяти В.П.Зайцева

И я забыл, что честно пал в бою.

В 1983 году, после службы в Советской армии, у меня назревала газетная публикация в «Молодёжи Азербайджана». Но что-то не сцепилось, и товарищ Наташа, дабы подсластить горечь, позвонила в отдел поэзии «Литературного Азербайджана». Редакции большинства тогдашних журналов располагались на последнем пятом этаже огромнейшего здания на улице Коммунистическая 31/33. Вячеслав Петрович Зайцев в обыкновенном костюме выглядел моложе своих лет, я даже предположить не мог, что предо мной – офицер-фронтовик. Просмотрев мои стихи, он сказал: слабые, посоветовал больше читать современных поэтов – обычные универсальные советы, к которым я начинал привыкать. Вдруг Вячеслав Петрович похвалил одну мою строфу. Мы понимающе улыбнулись друг другу и расстались навсегда. Если б только я знал, с кем меня свела судьба! Через много лет пришло осознание: Зайцев – самый крупный русский поэт, когда-либо живший в Баку.

В 2005 году Республиканское общество «Содружество» проводило конкурс к 60-летию Победы; я редактировал и составлял итоговую книгу «Меч и перо» и включил в неё и стихи покойного Зайцева. «Интересно, – сказал Мансур Векилов, когда я преподнёс ему книгу. – Мы со Славой дружили. Мне казалось, все его стихи знаю, а вот эти вижу впервые. Откуда ты их выудил?»

Вячеслав Зайцев родился 8 февраля 1924 года в городе Москве, с шести лет жил в Баку. В Отечественную был тяжело контужен, воевал на Закавказском фронте в черноморских частях в звании гвардии-лейтенанта: *«Ты помнишь Керчь?/ Над проливом огненный смерч./ Помнишь каменный остов Ростова?», «я портянки выстирал на Шпрее»*. Посвящение в гвардейцы произошло буднично: рябой сапёр назвал его героем и вручил значок, с которого со временем стёрлась позолота и потрескалась эмаль, да и никто не требовал торжественного строя, в военную страду – не до церемониалов.

В предгорьях Кавказа фронтовые дороги свели Зайцева с капитаном Зией Буниятовым – спали в одном окопе, по утрам адъютанты снимали с колышков прикрывавший их брезент и сливали накопившуюся за ночь воду. Через 20 лет будущий поэт посвятит будущему Герою Советского Союза, академику-арабисту, своему земляку поэму «Обелиск».

Окончив вечернюю среднюю школу, Зайцев учился на юридическом факультете Азербайджанского госуниверситета, но стал журналистом (газеты «На страже», «Молодёжь Азербайджана», «Бакинский рабочий»). С послевоенного времени начинается его поэтическое творчество. Книги: «Встреча с самим собой» (1961 г.), «Облака» (1965), «Отблеск» (1973), «Лирика» (1976), «Мгновенье надежды» (1982), «Рельсы сквозь годы» (1984»). Переводил и современную азербайджанскую поэзию. Член Союза писателей СССР с 1963 года. Зайцев легко и прочно вжился в азербайджанскую почву (и похоронен в 1990 году на старом бакинском христианском кладбище, возле Дома печати) – настоящий чемберекендский уркаган: по-южному горячий, не дурак выпить и поговорить за жизнь. Род Зайцевых – крестьянский, но и через эту сермяжную, незамысловатую правду, правду обыкновенного пехотного ротного из народа, бил благородный свет – так армейские погоны вдруг отсвечивают отблеском эполет.

Он часто ходил на вокзал провожать поезда. Об этой «дорожной» тоске хорошо написал Сиявуш Мамедзаде в стихотворении «Ночной звонок», посвященном памяти Вячеслава Зайцева, поэта и солдата:

Бакинской ночью поздней
Меня просил и звал
Твой голос почти слёзный:
– Поедем на вокзал…
Я понял все по тону,
Я знал наверняка:
Тебя звала к перрону
Купринская тоска
Из тех времен старинных,
Из тех печальных снов,
Где шел на поединок
Поручик Ромашов.
Я понял, но мешала
Мне согласиться лень
Иль лишнего бокала
Нечаянная тень.
Я мямлил трезво что-то
Про час, жену и дом,
С резонною заботой
Тебя берег притом
От тишины вокзала,
От памяти седой,
Дымящейся устало
Разлукой и войной,
Мерцающей свеченьем
Прощальных горьких слёз,
Истаявших в вечернем
Мелькании колес,
Унесшихся куда-то,
Неведомо куда,
Где стонут виновато
И плачут поезда…
Я помню: ночью поздней…
Прости… Ведь я всё знал…
Твой голос почти слёзный:
– Поедем на вокзал…

Эта «дорожная» тоска только отчасти «купринская» или «блоковская»: «О чём

грущу,/ Не спрашивай меня./ Я всё ещё, я всё ещё воюю,/ Я всё ещё не вышел из огня,/ И всё ещё над мёртвыми горюю». Фронтовое поколение больше не озабочивалось извечными вопросами: как быть? как уберечь от сделок совесть? – «Мне любые трудности/ нынче нипочём», «Но в юности всё это решено./ И жизнь для нас – прочитанная повесть».

Таким он и запомнился: раскованной походкой идущий на сыром ветру, пытающийся на ходу прикурить сигарету, лёгкое пальто распахнуто, и кашне вьётся за плечом полосатым парусом.

НАДИР АГАСИЕВ

Москвич из Чемберекенда

В этом году поэту Вячеславу Петровичу Зайцеву, много лет возглавлявшему отдел поэзии нашего журнала, исполнилось бы 95 лет. Родившийся в Москве, он всю свою жизнь прожил в Баку и не без гордости считал себя бакинцем. Часто вспоминал свое чемберекендское детство. Он и сейчас в Чемберекенде, правда, там нам его уже не найти. Мы пытались – не получилось. Заросла к нему «народная тропа», да и дружеская тоже. Вот Мансур умел найти могилу близкого друга, наперекор предречению Вячеслава Петровича: «*С четырех сторон, с четырех сторон,\ надвигается время моих похорон,\ надвигается, приближается,\ подо мной земля обнажается,\ затеряюсь в ней как иголочка,\ буду видеть свет через щелочку…*» Христианская часть чемберекендского кладбища сейчас малопосещаемая, кладбище забыто, заброшено, там «синь времен», как писал поэт в своем знаменитом пророческом стихотворении, затерявшийся ветер бродит среди деревьев на полузабытых могилах.

Я помню последнее посещение могилы Вячеслава Петровича. В одну из юбилейных годовщин Победы в Великой Отечественной войне, прежде чем поехать на традиционное празднование к Ивану Поликарповичу Третьякову, мы втроем: Мансур Векилов, Сиявуш Мамедзаде и я, решили навестить и могилу Зайцева. Ведь Вячеслав Петрович был участником войны, воевал под командованием легендарного Зии Буниятова, героя Советского Союза, академика. На могилу мы пошли почему-то, может, сокращая путь, не как всегда, а наперерез, через еврейские захоронения, Мансур вел нас, словно по наитию, казалось, и маршрут выбрал такой, чтобы усложнить себе задачу. Сколько славных имен на просторе кладбища были раскинуты перед нами. Многие были знакомы и давно забыты. Мы шли, находили знакомых,отдавались воспоминаниям, шли дальше, казалось, блуждали по кругу, но Мансур был уверен, что обязательно найдет могилу друга. И нашел, место уже вовсю заросло травами, полевыми ромашками, огоньками, сорняками. Я попытался среди зарослей найти тюльпаны. В первую годовщину смерти Вячеслава Петровича мы приехали к нему всей редакцией. Купили в цветочном магазине тюльпаны с луковицами, посадили их вокруг могилы. Они цвели там и через год.

Сейчас уже нет и Мансура, наши попытки найти могилу нашего старшего товарища тщетны и, кажется, чтобы сориентироваться на этом, со множеством забытых могил, кладбище, как в сюрреалистическом фильме, нужен особый проводник, сталкер.

И если уж говорить о нереальном, мне хочется, чтобы вопреки всему, – здравому смыслу, законам растениеводства, – тюльпаны в луковицах, что мы принесли почти тридцать лет назад на могилу товарища, сейчас снова распустились, зацвели, или даже выросли в гигантские тюльпановые деревья в память поэта. Ведь его помнят, наверное, лишь тонкие ценители поэзии и только старшего поколения. И еще я надеюсь, что после публикации его стихов в журнале сейчас, когда наш журнал распространяется и по интернету, его поэзия приобретет вторую жизнь, и пробьется вновь к нему тропинка.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – 90

ИСА ГАБИББЕЙЛИ

ВЕЧНЫЙ МОГИКАНИН ЛИТЕРАТУРЫ

Писатель с мировой славой Чингиз Айтматов заслужил всемирное признание как один из могучих мастеров художественного слова XX века. Чингиз Айтматов – один из создателей новой прозы в мировой литературе. Ему принадлежат исключительные заслуги в формировании и становлении образа человека нового типа в большой литературе второй половины XX века.

Чингиз Айтматов – мастер со стратегическим мировидением, отразивший в своём творчестве глобальные проблемы, служащие достижению устойчивого баланса в развитии общества, нравственной эволюции человечества в планетарном масштабе.

Писатель прошёл сложный и славный жизненный и творческий путь. Большой период его содержательной биографии приходится на годы Советской власти. Однако, несмотря на жёсткие идеологические препоны советского режима, Чингизу Айтматову удалось мастерски справиться с миссией воплощения в серьёзное литературное явление нового образа простого человека не только в труде, но и во всём богатстве и «чудаковатостях» его духовного мира. Его творчество явилось непревзойдённым примером создания в условиях советской действительности большой литературы, сумевшей выйти за пределы канонов социалистического реализма. Чингиз Айтматов был писателем мирового масштаба, который сумел, оставшись в Советском Союзе, творить на уровне Нобелевского лауреата. Его творчество обогатило мировую литературу новой моделью художественного мышления. Возможно, когда-нибудь будет учреждена новая международная премия в области литературы подобного типа – премия Чингиза Айтматова. В реальности же Чингиз Айтматов сумел создать новый наднобелевский стандарт в мировой литературе.

Первый этап его творчества может быть охарактеризован введением в литературу образа простого человека с его глубоким нравственным миром, причём без противостояния автора советской идеологии. В этот период Чингиз Айтматов был уже признан как один из создателей лирико-психологической прозы в масштабе Советского Союза. С данным этапом связано создание таких повестей и рассказов, как «Газетчик Дзюё» (1952), «Перевал» (1953), «На реке Байтамтал» (1954), «Белый дождь» (1954), «Соперники» (1955), «Лицом к лицу» (1957), «Джамиля» (1958), «Верблюжий глаз» (1960), «Тополёк мой в красной косынке» (1961), «Первый учитель», «Материнское поле» (1963), «Прощай, Гульсары» (1966).

70-е годы могут считаться периодом новых творческих поисков для Чингиза Айтматова. В созданных в эти годы произведениях заметна смена лирико-психологической тональности на отражение серьёзных социальных мотивов, связанных с общественной жизнью. В таких произведениях, как повесть «Белый пароход» (1976), «Пегий пёс, бегущий краем моря» (1977), драма «Восхождение на Фудзияму» (1973), нашли отражение актуальные проблемы времени их создания. 70-е годы явились в творчестве Чингиза Айтматова переходным этапом от повести к жанру романа и одновременно от лирико-психологической прозы к большой прозе с острым социальным содержанием.

Роман «И дольше века длится день» является вершиной айтматовского творчества. Этим романом, написанным в 1980 году, советская литература продемонстрировала возможности создания художественных произведений, возможно, даже превосходящих творения некоторых нобелевских лауреатов. На мой взгляд, присуждение писателю сразу

после выхода в свет романа «И дольше века длится день» (1983) третьей по счёту Государственной премии СССР, наряду с признанием высоких идейно-художественных достоинств произведения, в то же время в очередной раз «послужило» поводом для безучастного отношения к нему Нобелевского комитета.

Выход в свет в 1987 году романа «Плаха» стало очередным триумфом Чингиза Айтматова как писателя с масштабным романным мышлением.

Романы «Тавро Кассандры» и «Вечная невеста» как бы подводят итог творческим устремлениям Чингиза Айтматова.

В произведениях Чингиза Айтматова достигнут абсолютный синтез национального и общечеловеческого. Фактор национального в творчестве Чингиза Айтматова проявляется в высоких и глубоких человеческих качествах, связанных с общетюркскими корнями и порождённых киргизским этносознанием, вырастающим до глобального планетарного мышления. В айтматовских произведениях также нашла своё отражение моральная ответственность писателя, глубоко постигшего сущность индивида, нации, всего человечества. Кроме того, ещё одно своеобразие айтматовской модели всемирной гармонии связано с его гениальными мотивами решения мировых проблем не путём войн и кровопролитий, а приоритетным использованием возможностей культуры, литературы. И сегодня актуален известный призыв писателя, провозглашённый 20 лет тому назад: «На место культу войны должен прийти культ культуры». Айтматовская модель национального и общечеловеческого предлагает человечеству такие ценности, как справедливость, мир, единство.

Таким образом, Чингиз Айтматов – писатель генетически азиатский с европейской ориентацией. В творчестве мастера этот синтез, точнее, симбиоз выражения национальных реалий с общечеловеческими ценностями находит своё решение в пределах масштаба азиатского и европейского мировидения. В результате в его произведениях найден идеальный баланс национальных и общечеловеческих ценностей.

Коренные мотивы азиатского сознания Чингиза Айтматова находят отзвук в его жизненной философии и обобщениях, основанных на духовном мировидении и судьбе киргизского народа, сыном которого он является. Вводя в большую литературу реалии и особенности киргизских гор и степей, писатель воссоздаёт в целом обобщённый образ Средней Азии. Народы мира имеют возможность ближе, нежели по географическим картам, знакомиться с Киргизией и в целом, Средней Азией. В этом смысле Чингиз Айтматов, как могучий носитель общетюркского сознания, является, условно говоря, величественным монументом большой литературы киргизского духа. Он вошёл в пространство мировой литературы благодаря таланту представления своего народа и страны на уровне общечеловеческих понятий о родной земле и человеке.

Чингиз Айтматов – великий мыслитель, рождённый дастаном «Манас», создавший своими произведениями новую философию, восходящую истоками к этому эпосу, а также тип современного художественного мышления. Образно говоря, служа своими бессмертными произведениями человечеству в целом, Чингиз Айтматов воспринимается как величественный монумент, воздвигнутый в горах Тянь-Шаня, одной из высших горных вершин мира, в честь могущества слова, большой литературы. Его произведения, плод высокого и неповторимого таланта, – это мосты большого искусства, сближающие и роднящие континенты, страны, народы. Идея и художественная сила романа «И дольше века длится день» делают его одной из грандиозных эпопей XX века. Чингиз Айтматов – один из наиболее могучих создателей большой литературы новой эпохи.

Европейская тенденция в сознании Чингиза Айтматова находит своё отражение в его произведениях в умении с большой смелостью выражать рутину политической и моральной отсталости, невежества, показывать трудные и мучительные пути к национальной свободе. В его творчестве национально-духовное самосознание представлено на уровне

великого долга и идеала каждого народа, в том числе киргизского.

Его можно считать не последним, а вечным могиканином большой литературы, общественно-эстетической мысли постсоветской эпохи.

Во всех произведениях Чингиза Айтматова, независимо от жанра, присутствует романное мышление. Произведения писателя, по объёму относящиеся к жанру повести, по охвату проблематики и отображению интересной и сложной человеческой судьбы создают впечатление серьёзного романа. Такие повести, как «Лицом к лицу», «Джамиля», «Прощай, Гульсары», «Материнское поле», «Первый учитель», «Белый пароход», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Ранние журавли», «Белое облако Чингисхана» превосходят иные романы по своему идейно-нравственному содержанию. Данные произведения обогатили мировую литературу новыми идеями и образами. Неслучайно известный французский писатель Луи Арагон назвал повесть «Джамиля» «самым прекрасным в мире рассказом о любви».

Роман «И дольше века длится день» – один из шедевров мировой литературы, отражающий во всей суровой реальности трудную жизнь и глубокий духовный мир народов, связанных одной судьбой в жёстких условиях советского режима. Едигей Буранный – художественный образ нового типа, созданный в литературе XX века. Он всей своей сущностью является носителем киргизского национального духа и вместе с тем это обобщённый образ людей, переживших тяготы сталинского режима и стремившихся освободиться от духовно-политического рабства. И в притче о Манкурте, которую можно назвать своеобразным романом в романе, содержится мотив забвения национальной определённости, корней, народа, к которому принадлежит писатель. Образ Нейман-Ана – совершенно новое художественное воплощение национально-духовных поисков человечества в условиях переживаемых процессов забвения своих национальных корней, ответа на судьбоносный вопрос «кто я?». Это было тяжелейшим ударом по политической системе в период господства советской идеологии, одним из основных стратегических принципов которой было нивелирование национального сознания народов страны, переориентировка этого сознания на идеологическую доминанту, связанную с образом единого советского народа без национальной дифференциации. Роман «И дольше века длится день» ознаменовал собой мощную идею национально-духовного самопознания ещё в период Советского Союза, то есть до обретения союзными республиками суверенитета. В этом смысле роман «И дольше века длится день» – это мощный пароль призыва к национальному пробуждению, государственной независимости.

Повесть Чингиза Айтматова «Материнское поле» производит эффект трогательной песни о людях, верных родному очагу и родной земле. «Материнское поле» привнесло в литературу беспримерный аромат киргизской земли и мудрый образ простого пахаря.

В повести «Первый учитель» талантливо представлены глубокая нравственность и большие надежды простого учителя с далёких киргизских окраин.

В повести «Прощай, Гульсары» через осознание значения в жизни киргизов преданности человеку лошади по кличке Гульсары, осмысляется сложная судьба народа.

«Тополёк мой в красной косынке» – дастан о национальной гордости и чистой любви.

Повесть «Ранние журавли» посвящена жизни юношей, с гражданским достоинством заменивших отцов и старших братьев, ушедших воевать на фронтах Второй мировой войны.

В повести «Пегий пёс, бегущий краем моря» на примере одного поколения воплощена борьба за будущее человечества.

«Белое облако Чингисхана» с его глубоким общественным содержанием – это роман о Чингисхане, совершавшем победоносные набеги на обширной территории от Восходящего до Заходящего Солнца, и в то же время это повесть о судьбе Абуталыба Куттубаева, а ещё – это рассказ о любовном приключении сотника Догуланга со швеёй Ардене, ткавшей картину огнедышащего дракона на монгольских знамёнах.

Роман «Плаха» – это оригинальное художественное воплощение перехода в творчестве писателя от общенациональных к общечеловеческим проблемам.

Разработка темы на основе религиозно-мифологических сюжетов и мотивов – это продуманный шаг, позволяющий показать соотносимость идеи произведения не с каким-либо народом или страной, а с человечеством в целом.

Подобно тому, как произведения Чингиза Айтматова являются образцами совершенной литературы, так и созданные им характеры простых людей представляют собой неповторимые образы в мировой литературе. Джамиля, Данияр, Тоганой, Айсель, Алтынай, Байтемир, Тогулан, Едигей, Газангап, Абуталыб Куттубаев, Алтын, Филофей, Роберт Борк, Арсен Саманчин и другие – это неповторимые образы нового типа, порождённые редким талантом и глубокими жизненными наблюдениями писателя. Художественные образы, созданные Айтматовым в советский период, были для своего времени новым, важным событием, преодолевшим рубежи идеологического формата, разрушившим границы принятой стандартной модели деления на положительных и отрицательных героев в литературе.

И сам Чингиз Айтматов был в жизни личностью романного масштаба. Сложный и содержательный жизненный и творческий путь писателя являет собой эпопею в современной киргизской литературе.

Роман «Тавро Кассандры» представляет собой новый этап в творчестве Чингиза Айтматова. Письмо Филофея – это монолог Времени, адресованный обитателям планеты Земля. По общественно-политической значимости, служению пробуждению человечества это письмо может быть условно сопоставимо с монологами Гамлета из трагедии Шекспира, Кефли Искендера из комедии Джалила Мамедкулизаде.

Творчество Чингиза Айтматова завершается созданным в 2006 году романом «Вечная невеста, или Когда горы падают». Это не только чисто хронологически предсмертное произведение писателя: оно имеет значимость и ценность как итоговый труд автора в масштабе обобщающего художественного творения, выражения проблем, занимавших его на протяжении всего творческого пути.

Чингиз Айтматов, яркий свет таланта которого из маленького киргизского аула озарил мир, и богатое творчество которого возвысило национальную литературу, воздвиг этим творчеством новую вершину и в мировой литературе. Согласно статистике ЮНЕСКО, произведения Чингиза Айтматова переведены на более чем 170 иностранных языков и изданы миллионными тиражами. Подобная официальная статистика является серьёзным свидетельством мировой славы писателя, стоящего вровень с корифеями мировой литературы.

«Чингиз Айтматов и Азербайджан» – это достаточно обширная тема.

Прежде всего следует отметить оценку писателя, данную общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, в которой гениально определены место и сущность айтматовского мастерства: «Чингиз Айтматов, обогативший сокровищницу мировой литературы прекрасными произведениями, является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира».

В то же время суждения Чингиза Айтматова о видном государственном деятеле Гейдаре Алиеве на фоне сложной эпохи воспринимаются как глубокие наблюдения и обобщения: «Гейдар Алиев действительно является исторической, даже легендарной личностью. Так было и в советский период, таково его место и в сегодняшнем пространстве СНГ, и в значительно усложнившихся условиях современного мира. Гейдар Алиев во все времена был на службе народа».

И слова Чингиза Айтматова о Президенте Ильхаме Алиеве звучат как образный постулат человека литературы о главе государства: «Ильхам Алиев – это эталон лидера в глобализирующемся мире».

Награждение в 2008 году Чингиза Айтматова орденом «Дружба», наряду с высокой оценкой нетленного творчества великого мастера, является и открытым выражением чув-

ства общенародного почитания писателя. Приводимые ниже слова Президента Ильхама Алиева на церемонии вручения писателю ордена «Дружба» в Баку 25 февраля 2008 года отражают глубокий смысл отношения Чингиза Айтматова к Азербайджану: «Вы всегда, во все периоды являлись другом Азербайджана. Так было и в советскую эпоху,.. и в период независимости… В трудные времена вы всегда говорили своё решительное слово, как поборник справедливости, мира, сотрудничества».

Не раз бывавший в нашей стране, Чингиз Айтматов высказывал ценные мысли об азербайджанском народе и его культуре.

Так, он оценивал творчество Джалила Мамедкулизаде как важное достижение новой прозы. «Невозможно не оценить значение национальных литератур в современную эпоху, в особенности роль творчества Джалила Мамедкулизаде в развитии художественной прозы. Им заложены основы школы реалистической прозы в литературе тюркских народов. …Он сумел достичь новаторства во всех областях». Параллель «Джалил Мамедкулизаде – Чингиз Айтматов» прослеживается от обращения к общенациональным и общечеловеческим идеалам до продолжения и развития этой традиции на новом уровне.

В начале XX века, когда жил и творил Джалил Мамедкулизаде, режим царской России, а на следующих исторических этапах этого же столетия идеология коммунистического тоталитаризма не давали и не могли дать возможности для возвышения «маленького человека» до уровня чуть ли не героя общества. Эстетические идеалы Джалила Мамедкулизаде и Чингиза Айтматова достигают одинаковых высот в плане борьбы за простых, но отличающихся глубокой нравственностью и определёнными талантами людей, за их право представлять общество, в котором они живут, народ, к которому принадлежат, страну, гражданами которой являются. Участие и выступления Чингиза Айтматова на чествовании 100-летнего юбилея Джалила Мамедкулизаде в 1967 году в Баку и Москве – запоминающееся событие в истории наших литературно-культурных связей.

Высокая оценка, данная Чингизом Айтматовым творчеству таких азербайджанских писателей, как Мирза Фатали Ахундов, Самед Вургун, Расул Рза, Бахтияр Вагабзаде, Анар и др., наряду с объективным подходом к процессам серьёзного обновления в азербайджанской литературе в то же время имеет значимость в плане популяризации этой литературы в широком масштабе.

Дружба Чингиза Айтматова с великим композитором современности Гарой Гараевым, народным писателем Имраном Гасымовым, народным поэтом Бахтияром Вагабзаде, народным писателем Анаром, Шахмаром Акперзаде, Хидаятом, Гусейнбалой Мираламовым, Джамилем Алибековым и др. составляет новый этап в многовековой истории литературно-культурных связей наших народов.

Совершенно справедливы в этом смысле следующие слова Анара: «И мы гордимся Чингизом Айтматовым». Каждый из тюркских народов воспринимает Чингиза Айтматова как своего, родного писателя. По большому счёту Чингиз Айтматов является писателем всех народов, имеющих схожую судьбу и взгляды на человека, время, общество и будущее.

Мысли, изложенные в письме Чингиза Айтматова Имрану Гасымову, написанном в 1978 году, свидетельствуют о дальнейшем углублении взаимоотношений этих видных писателей:

«Правду сказать, я испытываю внутреннее беспокойство, обращаясь к тебе со словами «дорогой друг», ввиду удешевления этих слов из-за зачастую неуместного использования их между людьми. Особенно в наше время тесных контактов стало общим правилом называть каждого «дорогой друг». Ты же для меня друг в истинном смысле. Дорогой друг! Потому что это имеет серьёзную, проверенную временем основу.

В подобном случае дружба – это такая благодать, которая необходима для неустанного постижения живой жизни. Это особое созвучие умов, совпадение мироощущений… Такая дружба рождает в человеке гордость. Имран, я пришёл к этому заключению

об истинной дружбе благодаря твоей мудрости, твоему удивительному культу дружбы».

Нижеприводимые суждения – свидетельство высокой оценки Чингизом Айтматовым бессмертного наследия азербайджанского поэта:

«Культура поэтического мышления Бахтияра Вагабзаде по своей природе национальна. В настоящем виде, читая азербайджанского поэта, ты знакомишься с миром.

…Бахтияр Вагабзаде воздвиг свой величественный храм поэзии. Он – сила. Руки, которые воздвигли этот храм, искусны и всемогущи».

Бахтияр Вагабзаде, называвший Чингиза Айтматова «братом по крови», писал: «Прежде всего Айтматов – мой кровный брат. Будучи пишущим Батыр Манасом киргизской земли, он также – классик XX века, олицетворяющий большой тюркский мир. Волшебство, чудодейственная сила айтматовского пера подарили мировой литературе бесчисленные перлы… Для меня Чингиз Айтматов – это неподвластный времени рыцарь искусства, творения которого давно обрели вечность».

Заслуживающим безусловного интереса диалогом о большом искусстве можно считать и взаимоотношения Чингиза Айтматова с Анаром.

Азербайджанский писатель придерживается следующего мнения: «Мало можно назвать писателей, кто бы, подобно Айтматову, столь глубоко и точно знал всё живое на земле, прочувствовал во всей сути тайны человеческих страданий, умел связать судьбу лошади Гульсары или Черного верблюда с человеческой судьбой».

Анар хочет внести ясность и в тему «Чингиз Айтматов и Азербайджан»: «Писатели нашего поколения усвоили уроки нравственности великого Джалила Мамедкулизаде, сформировавшегося на основе традиций национальной литературы, и в то же время познали мировую литературу. Для нас особое значение имеет опыт двух современных прозаиков. Я имею в виду Ису Гусейнова и Чингиза Айтматова».

Взаимоотношения видного киргизского писателя с Сабиром Рустамханлы, Хидаятом, Гусейнбалой Мираламовым и др. представляют собой ценные страницы современной истории азербайджанско-киргизских литературных связей.

Тема «Чингиз Айтматов и азербайджанская литература» – весьма живой пример дружбы литератур и народов. Народы мира, в особенности каждый из тюркских народов воспринимают Чингиза Айтматова как родного писателя.

В Азербайджане проделана достаточная работа по научному изучению жизни и творчества Чингиза Айтматова. Предметом особого внимания являются особенности художественного мира видного мастера слова и его творческие связи с Азербайджаном. Так, в докторской диссертации Лейлы Гераизаде «Проблема этно-эпической памяти в русскоязычном творчестве тюркских писателей» исследованы место и позиция романа в творчестве Чингиза Айтматова. В диссертации на соискание учёной степени доктора философии по филологии Ульвии Гусейновой на тему «Тюркизмы в русскоязычных произведениях Чингиза Айтматова» предметом анализа являются языковые проблемы, в частности, стилистика произведений писателя.

Несмотря на достаточное количество исследований о видном киргизском писателе в Азербайджане, Мехман Гасанлы провёл специальное исследование на тему «Чингиз Айтматов и азербайджанская литература», которое в 2017 году было представлено к защите на соискание учёной степени доктора философии по филологии.

Имя и произведения Чингиза Айтматова достаточно хорошо известны в Азербайджане. В известном смысле Азербайджан исторически разделил судьбу киргизского народа и отображаемых в произведениях писателя историко-духовных процессов.

Можно утверждать, что большинство произведений писателя стали ценным духовным достоянием азербайджанского народа. Бессмертные произведения мастера ещё с 60-х годов прошлого века переведены на азербайджанский язык и были с большим интересом встречены в литературно-научной среде.

Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 января 2004 года «О выпуске массовых изданий латинской графикой на азербайджанском языке» в нашей стране были неоднократно изданы «Избранные сочинения» Чингиза Айтматова.

80-летие Чингиза Айтматова торжественно отмечалось в 2008 году в Азербайджане.

В связи с 85-летним юбилеем в 2013 году увидела свет книга «Чингиз Айтматов – победа тюркского духа» доктора наук по филологии Эльнары Акимовой, изданная при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики.

В Азербайджане прошли широкомасштабные мероприятия в связи с 90-летием Чингиза Айтматова. На международном симпозиуме на тему «Чингиз Айтматов: феномен объединения национального с общечеловеческим», проведённом в Институте литературы им.Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана 13 июля 2018 года, были заслушаны доклады на темы, связанные с эстетическим миром и творческими идеалами писателя. В специальном выпуске журнала «Сравнительное литературоведение» (2018), издаваемого Институтом литературы им.Низами Гянджеви, посвящённом Чингизу Айтматову, опубликованы статьи учёных из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Последовательные постановки произведений писателя на сценах театров нашей страны породили в Азербайджане своего рода театр Чингиза Айтматова. Это стимулирует читателей и зрителей, побуждая задуматься об актуальных общечеловеческих проблемах.

Высокие идеалы и бессмертные произведения Чингиза Айтматова служат развитию нового мира, укреплению связей между нашими странами и народами. Проблема всемирного, вселенского равновесия, гармонии, поднимаемая в произведениях дальновидного писателя с объёмным стратегическим мышлением остаётся по сей день глобальнейшей в современном мире. Айтматовская модель вселенского баланса всей своей сущностью нацелена на общечеловеческий мир во всём мире, справедливость, взаимодоверие между странами, совместное решение общих проблем и конфликтов, путь человечества к благополучию на основе диалога и сотрудничества. «Манкуртизм», как открытие Чингиза Айтматова, предостерегает человечество от забвения своих истоков, призывая народы к национально-духовному самопознанию и избавлению от всяких проявлений рабства. Суждения мастера о «человеке икс» и возможных проистекающих от него бедах способствуют осознанию грядущей исторической эпохи и прогрессу.

Одним словом, произведения Чингиза Айтматова сегодня, как и в период их создания, служат и будут служить образцами для духовной эволюции и возрождения. В истинном смысле слова Чингиз Айтматов – могучий мастер слова для всех времён. Бессмертные произведения писателя, выраженные в них высокие идеалы с их важной ролью в формировании нового планетарного сознания всегда будут освещать путь современному обществу, всему человечеству.

Чингиз Айтматов – реальность мировой литературы, легенда киргизского народа и литературы. Чингиз Айтматов – национальная гордость тюркского мира. Бессмертные произведения и идеи этого обладателя планетарного мышления служат манифестом для будущего идеального общества и большой литературы.

Меняющийся и развивающийся мир движется по верному пути достижения идеалов, с большой смелостью и дальновидностью выраженных в произведениях Чингиза Айтматова.

Чингиз Айтматов – вечный символ большой литературы.

ОРХАН ФИКРЕТОГЛУ

И З Г О Й

Повесть

Перевод Джавида АББАСОВА

Адрес я нашёл быстро. Улица называлась именно так, как и было сказано. Совпадал и номер здания, в подвале которого находилась винно-водочная лавка. Здешние люди казались мне родными, да и сама местность была похожа на нашу. Мужчины бородаты, широкоплечи, здоровы. А женщины такие же словоохотливые, как и наши. Эти люди приняли мусульманство ещё в период Османской империи. И все они – мистики, родились в текии[1]. Христиане поселились здесь сравнительно недавно, в прежние времена на этих землях невозможно было встретить крест. Жители до сих пор общаются на своём родном языке. Арабским не владеют. Знают турецкий, но на этом языке не говорят.

Я зашёл в лавку, огляделся. Его нигде не было. Наверно, всё ещё спал. Даже не понимая языка, я осознавал, что продавщица расхваливает своё вино. Надо ждать – торопиться было нельзя. Мне по возможности нужно было остаться незамеченным. Отошёл в сторонку. Старушка, сидящая на табуретке со сломанной ножкой, ни свет ни заря пила вино. Руки у старушки тряслись, и вино капало с подбородка ей на грудь. Красное вино напоминало кровь. Сзади кто-то потянул меня за куртку. Я обернулся. Это был какой-то мальчуган, бормочущий что-то на своём языке. Кажется, влип – сейчас все поймут, что я не здешний, приезжий. Мальчик что-то говорил, а люди, находящиеся в лавке, смеялись. Мальчик был тучным, с розовыми щеками. Наверно, просил денег. Мне надо было учитывать подобные моменты – будь у меня в кармане деньги, я кое-как вышел бы из ситуации. Засунул руку в карман. Мальчик смотрел на меня с невинной улыбкой. Радостно протянул руку.

И внезапно я вспомнил своё прошлое. Обычно, как я ни старался, я не мог вспомнить детские годы. А в те моменты, когда мне удавалось возвратиться в те времена, головная боль прерывала мои воспоминания. Сейчас я вспомнил себя в трёхлетнем возрасте, когда я неожиданно заболел корью. Тогда бабушка собрала у соседей всё имевшееся у них золото и притащила домой. Постель, на которой я лежал, пол, деревянные окна она разукрасила красным бархатом, принесённым ею в дом ещё невестой как приданое. По мнению бабушки, николаевские монеты, золотые кольца и серьги, развешенные в железном изголовье кровати, на красном полотенце, повязанном на мою голову, и на уголках моего одеяла, должны были излечить болезнь. Она считала, что золото – лучшая панацея от кори. А мать, каждую ночь вытирая пот с моего лба, охлаждала моё горячее от температуры тело холодной водой.

– Ты – мой падишах, – говорила она. – Вырастешь, у тебя тоже будет много золота. Вот увидишь – нога у тебя легкая. В год, когда ты родился, твоему отцу в школе наконец дали учебные часы. Скота у нас прибавилось. Друг отца прислал на твоё имя из города десять тысяч. С того дня, как ты родился, мы начали жить припеваючи.

[1] Текия – место, где собираются дервиши для своих обрядов, там же могут останавливаться для отдыха странствующие дервиши: что-то вроде странноприимного дома.

В то время я ещё не знал, что такое золото. Но отец говорил мне, что оно есть не у всех. Отец также говорил, что самый богатый человек в мире – это тот, кто довольствуется бедностью. Но мне тогда было непонятно, как можно довольствоваться бедностью. Ведь бедность – это когда у человека ничего нет. Как может человек жить, если у него ничего нет? Как он может довольствоваться этим? В то время я, как и все сельчане, не мог полностью понять смысла слов отца.

Отец преподавал историю в сельской школе. Невозможно было найти второго такого человека, так тщательно ворошащего исторические события. Отец изобличил шесть великих ошибок Геродота. Он был единственным учителем истории, который скептически относился ко многим походам Александра Македонского. Для игры в шахматы он изобрёл новую фигуру, но, не найдя на доске подходящего места для неё, решил промолчать об этом. Эта тайна была известна только мне и бабушке. Услышав об этом от отца, бабушка взглянула на небо, а я – на отца. В этот момент отец и сам показался мне всё ещё не изобретённой шахматной фигурой.

Войну в Гарабахе отец связывал с воронами, которые две зимы подряд каркали, не переставая. «Эту войну накаркали вороны, – говорил он, – люди не виноваты». Уроки заканчивались в полдень, но домой отец возвращался только ближе к вечеру. Он считал, что мужчина не должен сидеть дома и бездельничать. По завершении уроков он оставался в школе один и копался в исторических данных. Отец был заядлым книголюбом – целыми днями читал книги. Но событий, которые происходили у него перед глазами, он понять не мог, так как они ещё не ушли в историю. Он не считал события произошедшими до тех пор, пока те не уходили в историю. Порой даже события, которых никогда не было, казались отцу произошедшими. Нередко он путал небылицы с былью, выдумки – с правдой. Он каждый день тайком от матери говорил мне, что у моих дедов имеются бесчисленные табуны и стада на горе Ниял, и если понадобится, он продаст лошадей, чтобы я смог учиться в городе. Однажды он даже шепнул мне на ухо, что у нас в городе есть усадьба с золотыми воротами. Но мы намеренно не переезжаем туда – стыдно перед односельчанами. Они могут обвинить нас в трусости и сказать, что мы убежали, испугавшись армян. Небылицы, которые он мне рассказывал, никогда не заканчивались – обрывались посередине. Эти рассказы не имели конца. Теперь, когда я вижу, что все события, происходящие в мире, не имеют логического конца и обрываются посередине, я понимаю отца. Но в то время я, как и бабушка, не понимал его и так же, как и бабушка, хотел довести эту историю до конца. Конец незавершенной истории придумывал я сам.

В тот день, когда я заболел корью, отец, проходя мимо моей кровати, обвешанной золотом, раздражённо взглянул на бабушку. Бабушка знала, что молчание тоже своеобразное золото, поэтому она решила не разменивать свое золото, превращая его в слова. Однако я не могу вспомнить тот день, когда вылечился от болезни.

Я был единственным ребёнком в семье. Родился я слепым на один глаз, а ростом был гораздо ниже своих сверстников. Да и сейчас не особо высок. Сельская детвора называла меня «Одноглазый». С тех пор я подзабыл своё настоящее имя. Раньше из-за моего обидного прозвища бабушка перессорилась чуть ли не со всем селом – но позднее, как и я, всё же смирилась:

– Что поделаешь, – говорила она, – будь проклят доктор Самед: если бы тогда этот сукин сын предупредил нас о твоём недуге, то я не послушалась бы твоего отца – сама бы отвезла тебя в Москву на лечение. Сволочь, ни слова об этом не промолвил – чёрт бы его побрал!

Когда армяне начали обстреливать наше село, мне было одиннадцать лет. Я пережил это со скорбью в душе и до сих пор, хоть и туманно, помню эти дни. Почему-то мне кажется, что ничего не произошло – я просто смотрел какой-то страшный мультфильм, и в мыслях всё перемешалось. Всё, что я видел – всего лишь фильм, и со временем этот фильм завершится. В зале кинотеатра включится свет, и я, заново вернувшись в те годы, буду жить вместе с родителями и бабушкой. А дни, прожитые по сей день, не относятся к моей жизни – это лишь фрагменты фильма. Я и сегодня живу, глядя на происходящее вокруг и на себя во всём этом происходящем. Я – как бы один человек, но живу как два разных человека и могу смотреть на себя со стороны, находясь внутри этого события. Когда отец в последний раз поцеловал меня, у меня со страху от выстрелов армянских пушек поднялась температура. Не обращая внимания на эти страшные выстрелы, отец спросил у матери:

– Где градусник, не знаешь?

– Кажется, в моём сундуке с приданым, – ответила мать.

Отец встал и прошёл в спальню, принёс градусник и поставил мне. В этот момент на крышу нашего дома упал выпущенный армянами снаряд. Камни посыпались прямо на наши головы. Отец, словно отвечая им, направил старую винтовку в потолок и выстрелил два раза. Позднее он и сам осознал, что эти выстрелы он сделал скорее для того, чтобы доказать матери, что ничуть не испугался. Дабы рассеять воцарившийся страх, я вынул из подмышки градусник и протянул матери. Я до сих пор не могу забыть её округлившиеся от изумления глаза. С тех пор температура моего тела – тридцать четыре градуса. Врачи так и не смогли повысить этот показатель.

В течение шести дней армяне беспрерывно обстреливали наше село из русских пушек. Снаряды сравняли всё село с землёй, разрушили дома, мечеть с одним минаретом, баню Шаха Аббаса. Некоторые из сельчан сбежали по горной дороге и спаслись. Мой отец – учитель истории – не мог позволить себе покинуть «историческую территорию» нашего села. «Я – учитель, если я убегу от врага, то завтра дети не будут уважать историю», – сказал он. Он до последнего отказывался покинуть село, несмотря на слёзные мольбы матери. Из соседних сёл до нас доходили вести, что армяне убивают всех, даже детей и стариков. Отец не верил в это. «В стране есть милиция, армия, – говорил он, – такого беззакония быть не может! Армяне не посмеют совершить такое перед историей».

На седьмой день, ближе к вечеру, стрельба внезапно прекратилась. По радио, установленному у въезда в село, армяне объявили последнее предупреждение на азербайджанском языке:

– У вас есть два часа, чтобы покинуть село! Ничего с собой брать не нужно. Мы приостановили стрельбу. На горной тропе, ведущей к Агдаму, для вас открыт коридор. Помощи из Баку не ждите – им сейчас не до вас. Женщины и дети пускай пройдут к Агдамской тропе, а мужчины собираются в мечети. Не бойтесь. Рано или поздно мы обменяем вас в Баку на армян, попавших в плен!

Когда громкоговоритель умолк, мать обернулась и с ненавистью взглянула в глаза отца. Этот взгляд матери до сих у меня перед глазами. Под натиском этого взгляда отец опустил голову и от бессилия зарыдал. Бабушка отказалась присоединиться к женщинам, как другие старушки села. «Я не оставлю сына одного!» – сказала она и вместе с отцом направилась к мечети. Отец, как ни старался, не смог переубедить бабушку и, взяв меня на руки, шепнул: «Возьми этот пистолет – считай, что это игрушка. Если вдруг армяне попытаются отвести маму куда-то, пристрели и её, и себя.

Ничего не бойся, это всего лишь детская игра. От пули человек не умирает. Таких примеров в истории пруд пруди», – сказал он и прижал меня к груди. Хотел поцеловать и маму, но постеснялся бабушку.

Когда мы вышли на агдамскую тропу, уже стемнело. Теперь я понимаю, что армяне запланировали всё это заранее. Поэтому ближе к вечеру они разрядили пушки, чтобы настичь ночью женщин с грудными детьми близ холма Джабаны. Обманутые женщины, старики и босоногие дети, включая меня, бежали по горной тропе. Старики стеснялись своего желания выжить в таком преклонном возрасте, женщины – своего внешнего вида, а дети – своей усталости. Преодолев полпути, мы пришли к косогору, ведущему вниз, и внезапно увидели два армянских танка, движущихся на нас со стороны Агдама на большой скорости. За танками в нашем направлении бежали вооружённые солдаты. Старики, увидев это, остановились.

– Нам лучше остановиться, – сказал, тяжело дыша, Молла Вели. – Они стреляют во всех, кто двигается. Лучше подождём – может, достигнуто перемирие?

Прислушавшись к его словам, остановились все и начали ждать. Бородатые армяне настигли нас, и один из них, едва держась на ногах под воздействием алкоголя, направил на нас свой автомат:

– Куда это вы бежите? – крикнул он.

Бородач откуда-то знал наших сельчан. Обратившись к Молле Вели, гаркнул ему:

– Эй ты, тюркский ишак, неужели ты поверил, что мы отпустим тебя живьём вместе с этими шалавами?

Ничего не ответив на оскорбления, Молла Вели упал на колени и промолвил:

– Умоляю тебя, пристрели меня, но женщин отпусти, проливать кровь женщины – не по-мужски. Честь женщины – выше земли!

Армянин опустошил всю обойму автомата в живот Моллы Вели и, обернувшись к нам, крикнул:

– Если не хотите убраться к своему молле, становитесь в ряд!

Дрожа от холода и страха, мы, словно на уроке физкультуры, построились в шеренгу. Тучный армянин начал выбирать из шеренги красивых и здоровых женщин. Когда очередь дошла до моей матери, он крикнул на корявом азербайджанском языке:

– Какая куколка! Ашот, я нашёл тебе бабу на эту ночь…

Дикая страсть, исходящая от армянина, пронзила мою душу, и вдруг я вспомнил про пистолет отца. Мать пыталась спрятать меня, прижав к себе. Одной рукой она держала меня за шею, а другой пыталась отделаться пощёчиной от армянина, ласкающего её щеку. Я вынул пистолет и, тайком приставив к животу матери, дважды нажал на курок... Вздрогнув от ужасного звука выстрела и душераздирающего крика матери, я выронил пистолет. В последний раз обняв меня, мама опустилась на землю. Со страху я попытался выбраться из её рук и побежать к армянам, но не смог – мать не отпускала меня. Армяне не могли поверить, что одиннадцатилетний ребёнок может пристрелить родную мать. Подумав, что выстрел раздался откуда-то со стороны, они открыли огонь в темноту. Сельчане, воспользовавшись созданной мной суматохой, ринулись назад, в сторону села. Воцарилась дикая сутолока. Некоторых армяне расстреляли на месте, а некоторых уволокли к танкам и увезли с собой.

Мне до сих пор стыдно вспоминать всё это. Даже не знаю, что со мной произошло: я изо всех сил пытался выбраться из рук матери, которую несколько минут назад с любовью обнимал и целовал. Я стучал кулаками о неостывшее тело матери, пытался закрыть дрожащими руками её застывшие веки, но всё это мне не удавалось

– мама просто-напросто не отпускала меня. Таким образом прошло много времени. Уши то закладывало, то отпускало. Мне было невмоготу глядеть на постепенно синеющее лицо матери. До сих пор помню, как крикнул в последний раз и потерял сознание. Всю ночь я провёл в объятиях матери. Сон смешивался с явью; и мне порой казалось, что мать всё ещё жива, просто заснула, улегшись на земле. Пару раз я даже поцеловал её, пытаясь разговорить. Мысли о том, что я пристрелил родную мать, сильно терзали меня, но я гордился тем, что смог сдержать слово, данное мною отцу. Мне удалось уберечь свою мать от армян. Она была здесь, и мы лежали в обнимку. Но иногда я метался, пытаясь выбраться из её рук. Вопросы не давали мне покоя. Почему я пристрелил родную Мать? Почему не смог пристрелить себя? Чего я испугался? Интересно, накажет ли меня за это бабушка? Высмеют ли меня ребята в школе?

Утром пастух из соседнего села отыскал меня живого среди шестидесяти расстрелянных моих односельчан. Я выжил, но был как мёртвый. Это осознавал и пастух, поэтому боялся меня. Ему тоже никак не удавалось освободить меня из окаменелых рук матери. Дабы уберечь меня от армян, мать так сильно прижала меня к себе, что её пальцы прорвали мою кожаную куртку и вонзились в руки.

Люди, вызванные пастухом из села, принялись рыть у дороги могилы. Когда они опускали окоченелое тело моей матери в могилу, им пришлось опустить вместе с ней и меня. В тесной могиле руки матери раскрылись, веки закрылись, и, выбравшись из её рук, я осознал, что навсегда потерял её. Стоя в стороне, я в последний раз с горечью взглянул на её красивое лицо. На лице матери было странное сияние, стереть которое оказалось не по силам даже смерти. Кажется, это сияние видел и пастух, который, опасаясь внезапного появления армян, поспешно засыпал её лицо землёй. Он пытался побыстрее спрятать это сияние, чтобы армяне не явились на его блеск. Опустив голову, я тихо заплакал. Отныне мне предстояло всё делать тихо. Пастух подошёл и взял меня за руку:

– Чей ты сын? – спросил он.

Над моим отцом насмехались всем селом за то, что он путал сегодняшний день со вчерашним. Поэтому раньше, отвечая на этот вопрос, я называл имя матери. Но теперь у меня не было и матери, и я не знал, что ответить пастуху.

– Верни меня в наше село, и я покажу, чей я сын! – попросил я сквозь слёзы.

Не промолвив ни слова, пастух взял меня на руки и направился к серому коню. Придерживая стремя одной рукой, он помог мне сесть на коня и сказал:

– Вашего села уже нет, сынок, армяне его сожгли, сравняли с землёй.

С тех пор лицо моего отца превратилось для меня в историю, которую он так любил ворошить. В отличие от матери, жизнь отца оборвалась посередине, как и его рассказы. Постепенно его лицо полностью стёрлось из моей памяти. Я до сих пор в неведении – остался ли отец доволен мной за то, что я пристрелил мать? По словам пастуха, армяне собрали всех мужчин села в мечеть и заживо сожгли. Мне не верится, что мой отец умер такой лёгкой смертью. Я прекрасно знаю отца – он не мог вот так спокойно взять и умереть, не совершив что-либо нашумевшее для истории. Раньше, когда в мире царил мир, бабушка очень сердилась, слыша от меня такие слова:

– Говори только правду, – возмущалась она, – твое мнение меня не интересует.

Теперь правда заключалась лишь в том, что я собственными руками убил родную мать. Отца и бабушку в мечети сожгли армяне. Вернуться в село я уже не мог. Я был изгоем, и мне некуда было идти, не на кого было уповать. Подтверждение своим мыслям я нашёл не столько в словах пастуха, сколько в ужасной боли в его глазах.

Пастух отвёз меня к себе домой, и я погостил у него два дня. В этом чужом доме я не мог ни есть, ни пить. Пистолет, который нашёл пастух и вернул мне, я прижал к груди, как руку бабушки, и целых два дня лежал в кровати, не смыкая глаз. Сна не было ни в одном глазу – видимо, сон тоже погиб.

Через день пастух привёз меня в город Агдам, который я доселе не видел. Каждый вечер, читая газету, отец поднимал голову и громко говорил бабушке – так, чтобы слышала и мать:

– Если Агдам восстанет, то армяне начнут отступать. Один агдамец равен сотням армян.

Я верил, что его слова пропитаны историей, и мне хотелось рассказать агдамцам всё, что со мной произошло. С того момента, как мы въехали в Агдам, я не мог сдерживать слёзы. Мне казалось, что жители Агдама не в курсе того, что случилось в нашем селе – иначе они схватили бы оружие и уничтожили бы армян. Однако ни один агдамец не глядел в мою сторону. Мои слёзы никого не трогали. Люди были чем-то обеспокоены, куда-то торопились. Каждый был занят своими заботами. Прогулявшись с пастухом по центру города, мы купили на базаре лаваш и гаймаг и перекусили. Затем в парке я впервые в жизни покатался на карусели. Почему-то мне показалось, что оленю с карусели очень хочется выбраться отсюда и убежать, куда глаза глядят – а глаза оленя были полны печали.

Ближе к вечеру пастух сдал меня в агдамский детдом. Попрощаться со мной было выше его сил – это я понял по его глазам, полным слёз. Оставив меня в кабинете заведующего детдомом, он вышел со словами:

– Сейчас куплю тебе воздушный шар и вернусь.

При словах «воздушный шар» наши взгляды встретились. Мы оба, постеснявшись этой дурацкой ситуации, опустили глаза – в этот момент воздушный шар мне нужен был меньше всего. Наверняка пастух и сам это осознавал. Мне кажется, в те дни все воздушные шары, продающиеся в Агдаме, были готовы лопнуть, едва надувшись. Словно в воздухе Агдама тогда висели страх и напряжение. Город был вялым, каким-то нервным, и одновременно безразличным ко всему происходящему. Все, у кого имелись деньги и возможность, покинули Агдам. А у оставшихся было чемоданное настроение. Ни уборщицы, ни воспитатели детдома на работу не приходили. Никто, кроме старого сторожа, нами не интересовался. Сейчас я вспоминаю, что хотя просторные, прохладные комнаты детдома и казались мне тогда довольно светлыми, но я каждый день испытывал в этих светлых комнатах потребность в еде и человеческом дыхании. В суматохе того времени правительство окончательно позабыло о детдомах. Еду нам приносили сердобольные горожане. Чаще всего еда эта была несвежей – но мы ели всё, что дают. У детей в то время словно от страха разыгрался аппетит. Здесь они за обе щеки уплетали еду, которую дома и видеть не хотели. Но порой бывало так, что никто о нас не вспоминал, и в те ночи мы ложились спать голодными. Девочек в детдоме было намного больше, чем мальчиков. Голодными ночами девчонки тихо плакали. В эти моменты они нуждались не только в еде, но и в человеческой ласке. Я до самого утра успокаивал этих плачущих девчонок в глубине души, но подойти, погладить их волосы, утешать их никак не решался. Как я мог вернуть им их родителей? С тех пор я не выношу слёз. По сей день, видя плачущего человека, я раздражаюсь.

Через несколько дней армяне начали обстреливать Агдам из пушек. Это длилось на протяжении двух месяцев. То небольшое количество людей, что еще оставались в городе, покинули Агдам и сбежали в Баку. В опустошённом, заброшенном городе пе-

рестреливались солдаты, одетые в теплые бушлаты, какие надевали советские военнослужащие во время военных парадов. Обе стороны одевались одинаково, стреляли из одинакового оружия, выкупленного в русских воинских частях, из-за чего было трудно различить их. Было непонятно, кто за кого воюет, и куда направлены выстрелы. Как-то ночью исчез и старый сторож детдома. Каждую ночь я видел в его будке, расположенной возле входа в детдом, горящую лампу – без этого тусклого света я не мог заснуть. Этого света больше не было. И вот однажды в городе появились армянские солдаты. Увидев в окно, как солдаты, сидя на танках, объезжают город вдоль и поперёк, я понял, что Агдам уже оккупирован армянами. В городе уже не осталось ни одного азербайджанского солдата. Армяне могли найти нас в любой момент и расстрелять.

В ту ночь я спрятал плачущих девчонок в подвале и запер дверь изнутри. Целых два дня мы, мучаясь от голода и жажды, прятались в подвале от армян. На третий день я понял, что ещё немного, и эти маленькие девочки, видевшие во мне спасителя, умрут с голоду. Глядя на меня полными страха глазами, они молили меня о жизни. И хотя суть жизни я в то время понимал не полностью, но прекрасно осознавал, что значит хлеб во время голода. Я и сам был голоден, как эти девчонки. Я мог оставить их в подвале и пойти за едой в село, к пастуху, привезшему меня сюда. Дорогу я помнил. Я сказал девчонкам о своём намерении, и, успокоившись вмиг, они согласились ждать меня с хлебом. Девчонок утешало то, что перед ними стоит уверенный человек, знающий, что надо делать. Они радовались не на шутку, позабыв даже про армян, находящихся по ту сторону забора детдома. «А что у тебя с глазом?», – спросила одна из них дрожащим голосом. До тех пор ещё никто не спрашивал у меня о причине моей слепоты со столь явной горечью. «Армяне выкололи», – солгал я этой девчонке с длинной косой. Страх, появившийся на лице у этой шестилетней девчонки, был настолько ужасен, что он навсегда остался в моей памяти. Её лицо сначала искривилось, затем побледнело, и обняв меня, она горько зарыдала. Другие девчонки, словно ищущие повод расплакаться, также разрыдались. Никто до сих пор не лил таких горьких слёз по моему глазу. Я и сам прослезился, но успокаивать девчонок не стал. Наоборот, стало приятно от их заботы обо мне; если плачут, значит, любят меня. Это мне напомнило бабушку – иногда, подумав о чём-то, она обнимала меня и горько плакала. Это вызывало слёзы и у меня – я знал, что это от большой любви бабушки ко мне.

Поздно ночью я взял с собой самую смелую из девчонок и вышел из подвала детдома. Я до сих пор в неведении об участи девчонок, которых оставил одних, плачущих, в этом холодном подвале. Возможно, они умерли там с голоду. Или же их обнаружили армяне и расстреляли. Возможно, они до сих пор живы и годами живут среди врагов, привыкнув к такой жизни. Возможно, их растерзали голодные собаки. Не знаю. Знаю только то, что, возьми я их в ту ночь с собой, возможно, смог бы и спасти. Но я этого не сделал, так как в тот момент я не был уверен в том, что это – путь к спасению. И потом – кто может сказать, что путь, который я преодолел с той ночи по сей день, это путь к спасению? В ту ночь, когда я перепрыгнул через высокий забор детдома и очутился в тёмном, перепуганном городе, я не думал о том, о чем думаю сейчас. Город был абсолютно пуст. Словно и голоса куда-то исчезли. Не было и ветра. Армяне казнили и ветер. Я не знал улицы Агдама, не знал, где начинается дорога, ведущая к селу. Железные рамы подожжённых машин, почерневшие дома, рассыпанные по земле осколки стёкол и железа, разрушенные снарядами мечети и минареты казались нам устрашающими тенями в ночной тьме. Город словно находился под воздей-

ствием колдовства духов и ведьм. Со всех сторон веяло горячим дыханием невидимого ужаса. Я боялся, но о возвращении назад даже не думал. Мне нужно было принести из села хлеб для девчонок, спрятавшихся в подвале, которых в любой момент могли обнаружить армяне и убить. Мысль о том, что они могут умереть с голоду, казалась мне страшнее всех ужасов. Армян пока не было видно. Весь город обернулся в кромешную тьму. Не было слышно и гула машин. Видимо, армяне ещё не полностью обосновались в Агдаме. Хозяевами этого заброшенного, страшного города нынче были голодные собаки, беспечно бегающие по его улицам. Меня слегка успокаивало прикосновение пистолета, спрятанного за поясом, но я всё же боялся собак. Благо, девчонка, которая шла вместе со мной домой к пастуху, была из Агдама, и, в отличие от меня, она знала, где начинается дорога, ведущая к горным сёлам. По словам девчонки, её отец каждую неделю водил их в Зангелан, на прохладные родники. Преодолевая темноту и собачий лай, ближе к утру мы нашли нужную нам дорогу, и – ноги в руки – устремились в горы. Когда наступило утро, мы нашли убежище и приютились там. Этим убежищем была автозаправочная будка, расположенная у въезда в Агдам. Порой издали раздавался гул танковых гусениц. Ближе к полудню на небе появились два вертолёта. Собаки, испугавшись гула пропеллеров, начали лаять, но как только вертолёты скрылись из вида, животные тоже умолкли. Но одна старая собака всё ещё продолжала лаять – наверно, ей до сих пор мерещились вертолёты, и она лаяла не на реальный, а воображаемый вертолёт. Вслед за вертолётами в небе появилась стая журавлей, но лаять на птиц собаки не стали.

Лёжа на спине, я глядел на плывущую по небу стаю журавлей. Мой отец считал, что журавли и финиковые деревья относятся к роду Адама. Говорил, что все люди – родственники журавлей и фиников. Он рассказывал, что в Багдаде сбор фиников начинается после прилета журавлей. Если стая журавлей застрянет где-то в пути или перезимует в другом месте, то в Багдаде в том году фиников не собирают, так как разрешить сбор фиников должны именно журавли. И только после того, как прилетают журавли и криками дают понять, что пора собирать финики, местные арабы начинают сбор. До появления журавлей в Багдаде никто фиников не ест. Следовательно, человек, журавль и финики живут в единой духовной цепи, повторяют друг друга, следуют друг за другом.

Каждый раз, когда отец начинал эту замысловатую притчу о финиках и журавлях, бабушка вставала и выходила из комнаты. А я не мог сдержать смех, так как представить себе не мог, как может журавль знать про финики. После того, как журавли скрылись из вида, моя спутница положила дрожащую руку мне на плечо и указала движением головы на стоящий рядом сгоревший дом. Я заглянул внутрь дома, испепеленного снарядами, и разглядел среди развалин заплесневелую лепёшку хлеба. Без малейшего раздумья вошёл в дом, а девчонка последовала за мной.

Уже три дня, как во рту у меня не было ни маковой росинки. С того момента, как я увидел на полу этот чёрствый хлеб, я решил: делиться с девчонкой не буду. Я понимал, что это нехорошо, но ничего не мог с собой поделать. Я подобрал хлеб и принялся есть его. Девчонка стояла в сторонке и глядела на хлеб, не решаясь подойти поближе. Она плакала, осознавая, что не в состоянии что-либо предпринять.

Хлеб был твердым, как камень; у меня во рту пересохло, и я не мог смягчить его слюной. Я изо всех сил пытался прожёвывать откусанное, проглатываемые куски раздирали мне горло. Захлёбывался, икал, но продолжал жевать – наконец, изрядно устав, бросил хлеб на землю. Девчонка быстро подбежала, подобрала хлеб и, повер-

нувшись ко мне спиной, начала грызть его, обливаясь слезами. Внезапно я почувствовал во рту вкус крови. Поднёс трясущуюся от злости руку к губам и понял, что вместе с кусками чёрствого хлеба я проглотил несколько зубов. Сейчас я не могу понять, почему не хотел делиться с агдамской девчонкой этим чёрствым хлебом. Видимо, человек не всегда осознаёт то, что он делает. Иногда бывают шаги, которые совершаются сами по себе, независимо от человеческой воли и рассудка. Получается, что в теле человека тоже имеется рассудок, о существовании которого человек не знает. Этот рассудок предназначен физически защитить, уберечь человека. У этого рассудка нет ни совести, ни сострадания. Агдамская девчонка не обиделась на меня за этот хлеб. Да и я сам не обиделся на себя. Как только наступил вечер, мы вновь вышли на дорогу и начали бежать в направлении села пастуха. По этой дороге, знакомой агдамской девчонке, мы пробежали до самого рассвета. Утром мы нашли подходящее место и, укрывшись там, начали ждать ночи. Таким образом мы несколько дней шли в ночной темноте, прячась днём от армян, а ночью – от собак. На протяжении всего пути мы прятались в руинах сожжённых домов. Ели всё, что попадало под руку – а когда было нечего есть, оставались голодными.

Наконец однажды утром мы добрались но берега реки Араз. Дорогу дальше агдамская девчонка не знала. Как только увидели реку, мы поняли, что заблудились. Пастух жил в горном селе, а мы пришли к приречным сёлам. На противоположном берегу реки была уже неазербайджанская территория. Мой отец часто показывал мне реку Араз и говорил: «По ту сторону Араза находится Иран. Там живут такие же азербайджанцы, как и мы. Они говорят на нашем языке, справляют свадьбы, такие же, как и у нас. На их коврах такие же узоры, как и на наших. Во время праздника Новруз они тоже, как и мы, прыгают через костры. Если они узнают, что армяне посягают на наши земли, непременно придут к нам на помощь. Азербайджанцев, живущих в Иране, намного больше, да и оружие у них есть». Мне захотелось ухватиться за слова отца, как я когда-то брал его за руку, и перейти на противоположный берег реки Араз. Решил, что лучше просить помощи у жителей Ирана, чем искать хлеб для голодных девчонок, спрятавшихся в подвале от армян и ожидающих меня. Но агдамская девчонка не хотела, чтобы я переходил реку – её маленькое сердце словно заранее ощутило происшествия, ожидающие нас по ту сторону реки. Но в то мгновение я был готов ухватиться даже за соломинку. Я во что бы то ни стало должен был отомстить армянам за отца, живьём сожжённого в мечети, и за мать, которую я собственноручно пристрелил. На тот момент мне казалось, что иранцы, растрогавшись от моих слов, разрыдаются, прибегут вместе со мной в наше село и, отомстив армянам, найдут моего отца, и поблагодарят его за защиту азербайджанской истории.

Реку я перешёл легко – вода была не такой уж и бурной. Вооружённые иранские пограничники, притаившиеся на берегу, надели на меня и на агдамскую девчонку наручники и сдали бородатым солдатам иранской исламской революции. Эти бородачи усадили нас в открытый кузов старой военной машины и привезли в центр маленького городка. Они высадили нас из машины возле солдатских казарм, расположенных на окраине города, у леса, и отвели в разные комнаты. Затем, словно совершив великий подвиг, гордо удалились. Иранские солдаты не понимали моих слов, сказанных им на азербайджанском языке. Кажется, мой отец перепутал Иран с какой-то другой страной. Никто из людей, которых я здесь видел, не знал азербайджанского языка. Продержав нас в разных комнатах без воды и еды всю ночь, на следующий день они отвели нас в чей-то кабинет. Я до сих пор не знаю, кто был тот человек. Может, тот

человек никогда не жил? Отчего-то мне кажется, что он никогда и не умрёт, так как есть люди, которые могут смехом довести до гроба даже саму смерть. Этот тучный, улыбчивый мужчина был как раз одним из таких людей. Увидев нас, он спросил:

– Нэ джурсуз[1]?

Я был несказанно рад встретить в Иране улыбчивого человека, владеющего нашим языком. Звали его Гасан. Он общался с нами крайне любезно. Изначально он даже растрогался, расцеловал нас в щеки. Узнав о том, что мы сильно голодны, дал поручение принести нам еду. Захлёбываясь, мы вмиг уплели принесённый нам плов с фасолью. Затем он спросил, откуда у меня пистолет, и с какой целью я прибыл в Иран. Я рассказал ему о том, что на противоположном берегу реки армяне убивают нас российским оружием, как моего отца заживо сожгли в мечети, что ночами по Агдаму шастают псы-людоеды, что в подвале детдома спрятались маленькие девчонки, которые могут умереть с голоду, и что если так продлится и дальше, по ту сторону реки не выживет ни один азербайджанец. Внимательно выслушав меня, Гасан вдруг рявкнул:

– Послушай, мальчик, я спросил у тебя, с какой целью ты приволок в Иран этот пистолет! Всё, что ты рассказал, не имеет к нам никакого отношения! Погибаете – так чёрт с вами!

Агдамская девчонка, молчавшая всё это время, испугалась этих жёстоких слов и начала плакать. Пытаясь успокоить девчонку, я обнял её и спросил у Гасана:

– Вы можете дать мне солдат?

Гасан с изумлением взглянул на меня:

– А на что тебе солдаты? – спросил он.

Я подошёл к Гасану и едва слышно прошептал:

– Я пойду воевать против армян!

Не промолвив ни слова, Гасан начал с изумлением мерить взглядом то меня, то девочку. И вдруг он громко рассмеялся, разразился диким хохотом. До того времени я ни разу не видел человека, смеющегося с такой злостью. Я никак не мог понять, как человек может смеяться так фальшиво и в то же время от души… Мне было невдомёк, что именно могло рассмешить его в моих словах о гибели людей по ту сторону реки.

– Перестаньте! – буркнул я.

Его смех внезапно прекратился. Выражение лица осталось неизменным, а искусственный смех как рукой сняло. Он резко встал, подошёл ко мне и влепил сильную оплеуху, потом свалил меня на пол и начал пинать. От последнего пинка у меня потемнело в глазах. Я на некоторое время потерял сознание и пришёл в себя, когда солдаты, схватив меня за руки, выносили из комнаты, волоча по полу. Я заметил покрасневшее лицо Гасана – он содрал одежду с агдамской девчонки и разглядывал её с нечеловеческой страстью. Мне до сих пор неизвестно имя той агдамской девчонки. Я не запомнил даже её лица. В детских домах девчонки скрывали свои имена от мальчиков. Но я знаю, как называются её глаза, уставившиеся на меня в тот момент как на последнюю надежду; я знаю, как называется взгляд, передаваемый этими глазами. Этот взгляд называется «страх». С тех пор, как я увидел этот взгляд агдамской девчонки, я узнаю страх в лицо. В тот день солдаты избили меня и отвели в камеру. Из камеры я слышал крики агдамской девчонки – второго человека после моей матери, униженного животной страстью человека у меня на глазах; в тот момент я возненавидел отца, который внушал мне не действительность, а историю. И там же, в камере, я внезапно осознал, что справедливость и совесть могут быть лишь щедростью сильного по отношению к слабому. На самом деле моё сострадание к агдамской девчонке

[1] Дословно: «Как вы?» (на азербайджанском языке)

в этой темнице ничего не меняло. Гасан сделает с девчонкой всё, что пожелает, так как он сильнее меня. Поэтому нужно быть сильным.

Дальнейшая участь агдамской девчонки мне неизвестна. Скорее всего, её оставили в Иране – или же, обесчестив её, Гасан казнил её на виселице, как опороченную женщину. Не знаю… Я стараюсь не думать об этом… Так легче жить – не мучаешься.

После двухдневного содержания в холодной камере меня усадили в попутную машину и привезли к берегу Араза. Оказалось, что Гасан, умеющий фальшиво смеяться над всем увиденным, продал меня нахчыванцу, прибывшему в Иран торговать медью. Когда иранцы, с которыми он начал сотрудничать после развала Советского Союза, сообщили ему, что взамен продаваемых им медных проводов они дадут ему не деньги, а беспризорного маленького азербайджанца, он сразу согласился – ему не хотелось, чтобы незнакомый ему маленький соотечественник гнил в иранских тюрьмах. Они сдали меня ему на границе. Это был высокий молчаливый человек. У меня от побоев распухло лицо, все в засохшей крови, вытекшей из разбитых губ. Я почувствовал, что, увидев меня, нахчыванец рассердился. Гасан расхохотался:

– Ну что, недоволен обменом? Сильно помят? Если хочешь, поменяю – расплачусь с тобой долларами?

Нахчыванец как ни в чём не бывало улыбнулся и, ничего не ответив, взял меня на руки. Мы пересекли Араз и перешли через границу. Нахчыванец ни разу не оглянулся – он молчал всю дорогу, даже не спросив, каким образом я очутился в Иране. Но на повороте из Седерека в Нахчыван попросил водителя остановить машину. Не промолвив ни слова, вышел из машины и побежал к невысоким горам. У него сильно тряслись плечи, и было понятно, что он плачет. Распознавать плачущего человека издали я научился в детдоме. Вскоре он вернулся – лицо у него было, как опустошённое облако. Он встал возле приоткрытой двери машины и, впервые взглянув на меня, наконец раздражённо промолвил: «Нет у нас ни чести, ни совести!»

…Мы направились в Нахчыван. С тех пор я ни разу не встречал человека, способного так искренне выругать себя. Таким тоном он мог говорить только лишь с самим собой. Другие бы его не поняли. Я недолго прожил в нахчыванском доме этого человека. Этот молчаливый человек, продающий медь, был законником – работал в милиции. Даже невзирая на должность, он не мог содержать в своём доме чужого ребёнка втайне от правительства. Как ни странно, я очень быстро привык к этому молчаливому человеку. Будучи вместе, мы никак не общались – но все равно я сильно привязался к нему. Он был сильным человеком. На него можно было положиться. Он бескорыстно любил своё окружение. Был благодарен за все, что имел. Боялся потерять лицо. Дабы не умереть с голоду, он занимался торговлей, но презирал людей, зарабатывающих деньги подлыми путями. Мне не хотелось расставаться с ним – однако мы прибыли в Баку, где он хотел сдать меня в какой-нибудь детдом. Но ни один детдом не согласился принять меня у этого молчаливого человека, так как у меня не было никаких документов и установить мою личность было невозможно. Единственным учреждением, которое могло бы засвидетельствовать мою личность, было архивное управление нашего села, которое армяне сожгли дотла. Фактически я был здесь, но официально меня не было. У меня не было ни имени, ни адреса. Меня не знало ни правительство, ни здешние люди. Я был тенью, миражом. Эти люди не знали ни моего отца, ни мою бабушку. Как я мог объяснить им, кто я такой? Возможно, если бы этот молчаливый законник заплатил заведующему детдома немного денег, то заведующий сделал бы меня «кем-либо». Но нахчыванец не сделал этого.

Наконец, спустя неделю скитания, меня согласились принять в новую школу-лечебницу, построенную в посёлке Маштага для умственно недоразвитых детей. В последний раз этого молчаливого человека, выкупившего меня в Иране, я увидел возле железных ворот этой лечебницы. Попрощавшись с главврачом лечебницы, согласившимся принять меня, нахчыванец нагнулся и молча уставился на меня.

С тех пор прошли годы, но я до сих пор не понимаю, что именно он хотел сказать этим взглядом. Однако я знаю, что этот человек мог бы и не выкупать меня в Иране. В таком случае я мог бы прожить совершенно иную жизнь и стать совершенно другим человеком. Я не могу оценивать уже прожитую жизнь, оставшуюся во вчерашнем дне. Ясно одно – я волей-неволей прожил эту жизнь. В этой моей жизни поучаствовал и тот молчаливый человек. Получается, что этот человек являлся олицетворением вмешательства Всевышнего в мою жизнь. Прощаясь со мной, он не промолвил ни слова – просто положил мне в карман немного денег и вернулся в Нахчыван. А я остался в незнакомом посёлке Маштага. Наряду с умственно недоразвитыми детьми, в лечебнице были и дети без документов, как и я. Это было закрытое учреждение за высоким забором, охраняемым милицией. В отличие от детей без документов, умственно недоразвитые дети в обязательном порядке содержались в этой лечебнице аж до совершеннолетия. Большинство из них были неизлечимо больны. Врачи всего лишь кололи им успокоительные средства. Они были абсолютно беспамятны – никого не узнавали, ничего не помнили и не осознавали, ни от кого ничего не хотели. Целыми днями сидели за запертыми дверями и разговаривали сами с собой.

В первые дни я чувствовал себя таким одиноким, что считал этих больных рождёнными намного счастливее, чем я. По крайней мере, у них не было столь горьких воспоминаний, как у меня. Они ничего не осознавали – и, следовательно, не могли воспринимать потерю. Во дворе лечебницы стояло недостроенное школьное здание. Школа была предназначена для умственной реабилитации больных, но уроки в ней не проводились. Не было видно даже учителей. Здоровых детей, таких, как я, не имеющих документов, содержали здесь тайком. Главврач, принявший нас в лечебницу без разрешения, оформил нас как больных. Наши имена были отмечены в документации как имена больных, но отношение к нам было не как к больным. Только трижды в день – во время еды – мы становились в ряд и приходили в главное здание. А в остальное время мы были свободны. Даже сотрудники милиции закрывали глаза на наши действия. Дети часто перепрыгивали через высокое ограждение лечебницы и уходили в село – носили сельчанам воду, покупали им хлеб. Иногда их забирали на дачи, чтобы очистить землю от сорняков. За проделанную работу дети брали у сельчан деньги. Но я за работу денег не брал. Наоборот, сидел у забора лечебницы и помогал старикам переходить дорогу. Поэтому жители Маштаги любили меня больше, чем других детей. Я заразился от нахчыванца молчаливостью: в чужой среде, среди незнакомых людей, я не говорил ни слова. Целыми днями я сидел лицом к стене и молчал.

Большинство врачей лечебницы не приходили на работу из-за маленькой зарплаты. Вместо них уколы детям делали уборщицы – они били детей, обращались с ними очень грубо. Большинство уборщиц даже понятия не имело об ужасах, происходивших в прифронтовой зоне. Они не верили, когда я рассказывал им, как армяне сожгли наше село дотла. А когда я сказал, что собственноручно застрелил мать, дабы спасти её, они рассмеялись.

Царящая в то время повсюду нехватка денег пересекла и ограждение лечебницы. Даже здешние дети из кожи вон лезли, чтобы по ночам засыпать на сытый же-

лудок. Села им было уже недостаточно. Сразу после завтрака большинство разумных детей садились в поезд и уезжали в город на заработки. Вначале я не решался ехать в город вместе с ними. Эти дети смогли приноровиться к жестоким правилам окружающего мира раньше меня. Их тоже, как и уборщиц, уже не волновали чужие горести. Они тоже хотели жить благополучно, как и люди по ту сторону ограждения. И довольно рано поняли, что для этого надо «трудиться». Робкие сельские дети изо дня в день менялись у меня на глазах. Они уже в столь юном возрасте превратились во взрослых, грубых, эгоистичных мужиков. Из-за моего неумения зарабатывать деньги я превратился в их глазах в одного из больных детей. На тот период всем жилось нелегко. Если бы отец был жив, то назвал бы эти дни «днями вне истории». Все люди, которых я мог видеть, действительно покинули историю, чтобы жить лучше. Никто никого не стеснялся. Люди были готовы на всё, чтобы зарабатывать деньги, не задумываясь могли унижаться. Словно все сложили гордость и спрятали «в далёком уголке истории». Они жили так, как хотели, делали всё, что им хотелось, никого не стесняясь. Уже никто никого не упрекал. Понятия «плохое» и «хорошее» были условными, а главным условием было зарабатывание денег. Это было странно, так как здесь не было армян, стреляющих в людей. Здесь не было тех страхов и ужасов. Однако, несмотря на это, здесь мало кто жил для истории. В те годы людей объединяла лишь одна мысль: выжить. Люди адаптировались к новым условиям и пытались найти во всём происходящем собственную выгоду. Даже изгнанные со своих родных земель, сродни мне, вместо того, чтобы вернуться назад и отомстить, обогащались, продавая выдаваемую им гуманитарную помощь.

Ежедневно я видел на Маштагинском рынке беженцев, продающих выданную им гуманитарную помощь. Интересно, каким образом боязнь смерти от голода возникла в местах, где смертью даже не пахло? Почему этим людям хотелось только есть? Вскоре я тоже, как и все эти люди, привык есть. С утра до вечера я набивал рот всем, что попадало под руку, дабы не умереть с голоду и выжить в этой непривычной среде. В то время мне казалось, что если не буду есть, то непременно умру. Другой опоры для выживания у меня не было. У меня не было ни близкого человека, чтобы излить ему душу, ни врага, чтобы подраться с ним. Стоило мне увидеть у больных детей кусок хлеба или огрызок яблока, как я набрасывался и отбирал. За это уборщицы несколько раз отлупили меня, но это было бесполезно: мне почему-то всё время хотелось есть. Хотя такими были все – постоянно что-то ели. Мне кажется, что в то время я съел даже «Историю». Съесть историю в те годы для меня было проще простого, так как съедание собственной истории не требует от человека большого ума и много сил. Берёшь историю, закрываешь глаза, проглатываешь – и все дела… Лишь бы был аппетит. А для того, чтобы есть хлеб, надо было работать. А я не умел работать. Профессии у меня не было. Я не учился. Значит, у меня не было и будущего. Отец мой остался в своей любимой истории. Мать я собственноручно похоронил на холме Джабаны. У меня остался только живот. В то время даже дети строили своё будущее собственными руками. А мне, «строя своё будущее», больше всего хотелось есть. Целый год я выживал, съедая всё, что попадалось под руку. На второй год мне пришлось присоединиться к другим детям и протирать окна стоящих перед светофорами машин. Я был слеп на один глаз, поэтому не очень-то и справлялся с этой работой. Но как бы мало я ни зарабатывал, на еду мне хватало. Даже однажды я смог позволить себе посмотреть фильм в сельском клубе, поедая мороженое. В дневном свете я ещё кое-как справлялся, но темнота создавала мне неимоверные трудности. Я боялся темноты; из-

за частичной слепоты я не мог разобраться в сумме заплаченных мне денег. Некоторые, видя, что я слеп на один глаз, недоплачивали. А некоторые, сжалившись, платили больше положенного. Таким образом я несколько лет провёл перед светофорами, протирая окна машин и зарабатывая на жизнь.

В те годы я подружился с городским мальчиком по имени Самир. Самир был из обеспеченной семьи. Его отец владел несколькими магазинами в городе. Каждый раз, когда я протирал окна их машины, и Самир, и его отец платили мне больше всех. Хотя Самир был несовершеннолетним, отец купил машину и ему. Самир каждый вечер разъезжал на машине, и я, закончив работу, присоединялся к нему. Беседуя о том, о сём, мы разъезжали по улицам Баку. Мне было легко общаться с ним. Он тоже, как и я, привык задумываться об увиденном. Каждый вечер после прогулки мы с Самиром сидели в чайхане и пили чай, а ближе к ночи ехали к ним. Его мать очень любила меня – каждый раз целовала меня и прижимала к груди. Она дарила мне старую одежду Самира. Когда я стеснялся и не хотел брать, она насильно надевала её на меня, и говорила:

– Когда ты тепло одет, на том свете греется и твоя мать!

Каждую ночь я ел у них горячий суп, напоминающий мне супы моей бабушки, ел шекерчурек и вишнёвое печенье, которых я доселе не отведывал. Затем рассказывал всю свою горестную историю матери Самира, у которой глаза были на мокром месте. В отличие от моего отца, отец Самира никогда не говорил об истории. Его интересовало только настоящее время. Он хоть и не знал историю, но хорошо разбирался в сегодняшнем дне – вчерашнего дня для него не существовало. Постепенно он тоже привык ко мне, и когда я не ездил к ним, начинал скучать.

Через год отец Самира увёл меня из лечебницы и оформил в сельскую школу для получения образования. С тех пор я жил у них дома. У Самира была старшая сестра по имени Диляра. Она была некрасивой, но почему-то каждый раз, глядя на неё, я вспоминал свою мать. В мою душу вселялась близость, теплота матери, и у меня глаза наполнялись слезами. Даже события, происходящие вокруг меня и не имеющие ко мне никакого отношения, меняли свой облик и ускорялись. У меня отнимался язык, пересыхало в горле, тело охватывала дрожь. Мне казалось, что Диляра видит всё это, и где-то в глубине души получает удовольствие от моего нынешнего состояния. Из-за всего этого я всячески пытался не попадаться Диляре на глаза. Таким образом, играя в прятки, я прожил несколько лет. Позднее я осознал, что по-настоящему влюбился в Диляру и поэтому стесняюсь Самира. Я знал, что я его должник на всю жизнь – за ту доброту, которую он и его семья проявили ко мне. Что я мог дать Диляре? К тому же, любить дочь семьи, приютившей меня на все эти годы, было как-то не по-мужски. Она мне была как сестра. Я жил в этом доме и был обязан защищать честь этой семьи. Мне были известны также неписаные законы двора, в котором я жил. По законам этих мест, моя любовь к Диляре считалась бесчестием, и когда я думал об этом, мне становилось не по себе. Поняв, что не могу справиться со своими чувствами, я старался уйти с головой в школьные занятия, чтобы не думать о Диляре.

В школе у меня было всё в порядке: я даже стал победителем общереспубликанской школьной олимпиады по истории. При дневном свете позабыть о Диляре мне кое-как удавалось, но вечера для меня превращались в настоящую пытку. Я старался скрывать эту тайную любовь ото всех, даже от самой Диляры. А Диляра знала о моих чувствах и играла со мной в странные игры. При первой возможности она вызывала у меня ревность и громко смеялась, получая от этого огромное удовольствие.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел, как Диляра в тёмном коридоре целуется со своим одноклассником. Я попытался взять себя в руки, но не смог – набросился на одноклассника Диляры и сильно избил его. Его с трудом вызволили из моих рук. В ту ночь я домой не пошёл – переночевал в школе. А Диляра со страху рассказала Самиру о случившемся в совершенно ином свете: якобы я в тёмном коридоре пытался обесчестить Диляру, но её одноклассник помешал этому, защитив её от меня. Услышав эти слова, Самир схватил нож и пошёл на меня. Я не стал говорить ему правду, боясь, что он направит нож на Диляру. Моё молчание Самир счёл за правоту Диляры и нанёс мне три удара ножом. Я не стал защищаться, сопротивляясь ему – как я мог поднять руку на человека, в доме которого ел хлеб?

После того, как раны зажили, отец Самира выписал меня из больницы. В тот же день мы зашли в кафе, и перед тем, как заказать еду, отец Самира спросил у меня, не намереваюсь ли я жаловаться на его сына.

– Конечно, не буду! – ответил я.

От моего ответа его лицо обрело спокойствие.

– Ты совершил бесчестье – Диляра была твоей сестрой! – сказал он и вызвал официанта. Пока официант подходил к нам, отец Самира, не глядя мне в лицо, спросил, можно ли мне шашлык.

– Можно, – ответил я.

Не промолвив ни слова, мы съели по порции шашлыка. Насытившись, отец Самира оплатил счёт и встал:

– Я оформил тебя в духовную школу. Если ты будешь вести себя там как человек, и учиться как следует, то станешь учёным. Если бы не просьба Диляры, то я даже не разговаривал бы с тобой. Забудь наш адрес раз и навсегда! Отныне мы для тебя не существуем! – сказал он и вышел из кафе.

В тот вечер мы сели с ним в машину и приехали в бакинский квартал под названием «Кубинка». Отец Самира остановил машину возле окрашенных ворот старого двора. Широкоплечий охранник открыл ворота и впустил нас во двор. Мы вышли из машины, и нас встретил высокий мужчина.

Этот высокорослый человек борцовского телосложения, хромающий на одну ногу, на первый взгляд показался мне родным. Увидев меня, он прижал меня к груди и промолвил:

– С этого дня ты – моё дитя!

Он вызвал к себе одного из охранников, стоящих возле ворот, и движением глаз поручил ему отвести меня в его комнату. А сам, взяв отца Самира под руку, отошёл в противоположную часть двора. Когда я входил в дверь школьного здания, они уже попрощались. В руке у отца Самира был небольшой свёрток, который отдал ему этот высокорослый мужчина. Мне до сих пор неизвестно содержимое того свёртка, но я по сей день уверен, что этот свёрток связан со мной.

Высокорослый мужчина повторно обнял меня в своей комнате и представился: это был Эмир Тарик – шейх медресе, в котором мне предстояло учиться семь лет. В то время я не знал, чем медресе отличается от школы. А имя «шейх» мне было известно только из учебников истории. Да и сам этот человек мне напоминал больше историю, чем реальность. На его лице царила совершенно иная, доселе неизвестная мне тьма. Складывалось ощущение, что этот человек близок со смертью. Первая мысль, пришедшая мне в голову на тот момент, была следующая: интересно, после семилетнего обучения в медресе я тоже стану шейхом и начну хоронить людей, или как?

В то время я не знал, что такое религия. Мой отец любил Аллаха без религии. Он признавал Аллаха, а не религию. К тому же, в то время я мечтал стать не шейхом, а учителем истории, как мой отец. Но в этом медресе было и кое-что хорошее для меня: здесь я мог прикоснуться к истории собственными руками. Кроме того, в те годы у меня была большая страсть к чтению. Я был готов выдержать все тяготы обучения в этой школе, появившейся в моей судьбе в силу отсутствия выбора – лишь бы получить образование и увековечить историю моего отца.

По словам Эмира Тарика, он родился в Афганистане, по национальности был узбеком. Окончил Каирский университет и стал учёным проповедником исламского права. Имел научную степень. Говорил только о том, что знал – если чего-то не знал, то молчал. И прекрасно знал, кому, что и как говорить. В этом медресе мне безвозмездно – как божий дар – предоставлялась горячая еда трижды в день, комната со всеми удобствами и отцовская любовь. Также школа меня обеспечивала сезонной одеждой и достаточной суммой денег на карманные расходы. А от меня требовалось лишь понимание духовного учения и соблюдение законов и правил медресе. Молиться, держать пост и выполнять другие религиозные требования – всё это зависело от моей собственной воли, так как религия не воспринимала навязывание какого-либо обязательства. Хотя не выполнять религиозные требования, обучаясь в этом медресе, было невозможно. В то время у меня не было ни имени, ни документов. Меня не искало ни правительство, ни какие-то дальние родственники. Я покинул историю и просто-напросто не существовал – был никем, и звали меня никак. И в один прекрасный день был принят в духовную школу, где меня намеревались содержать и обучать на протяжении нескольких лет – так почему же я не должен был соглашаться? Начиная с этой ночи менялась вся моя жизнь – это я осознал, как только увидел Эмира Тарика. Этой ночью я должен был исповедаться и прийти к истинному пути Аллаха. А на каком же пути я был до сих пор? Не на пути ли Аллаха? Я задал этот вопрос Эмиру Тарику, и он, улыбнувшись, погладил мне волосы:

– Если Аллах в эту ночь привёл тебя, такого несчастного и одинокого, ко мне, значит, ты всегда был на пути Аллаха, сынок! Даже камень, о который ударяется твоя нога, от Аллаха! Всё, что происходит ныне и будет отныне происходить на этом свете, происходит с ведома и согласия Аллаха – и удача, и несчастье, и смерть, и болезни… – ответил он.

Наше село не было религиозным – оно, скорее, было весёлым советским селом, живущим под звуки гармони. Про Аллаха в нашем селе знала только моя бабушка. Но она довольствовалась лишь тем, что каждую ночь звала Аллаха на помощь отцу – этим и ограничивались её беседы с Аллахом. Мой отец не любил мулл, считая, что они не имеют ничего общего с настоящей историей. «Они разлучают человека с Аллахом. Человек, молящийся Аллаху ради денег, исходит не от Аллаха, а от мира сего», – говорил отец.

Мы жили традициями кочевых народностей, и когда в нашем селе умирал человек, мы приглашали муллу из агдамской мечети, чтобы похоронить его. Под конец в наше село из Джабраила переселился Молла Вели. На самом деле он был учителем литературы и не особо разбирался в религии. А покойников он хоронил стихами. С самого моего рождения у нас дома никто не молился, не постился, не проводились религиозные обряды. Поэтому я стеснялся, глядя на Эмира Тарика. Увидев, что я молчу, Эмир Тарик познакомил меня с человеком, который должен был показать мне мою комнату. Этот человек был также моим преподавателем. Звали его Зейд. В отли-

чие от Эмира Тарика, Зейд был человеком со строгим взглядом. Худощавый, среднего возраста, он долго держал мою протянутую руку и глядел на меня. Затем, обратившись к Эмиру Тарику, сказал:

– Исповедь этого юноши запечатлена на его лице. На языке исповеди может и не быть. Он навидался смерти, теперь хочет жить.

– А ты научишь его умереть по-нашему! – ответил Зейду Эмир Тарик.

Когда мы с Зейдом выходили из комнаты Эмира Тарика, я осознал, что этой ночью я утратил мою свободу и независимость, и с завтрашнего дня у меня начинается совершенно новая жизнь. Отныне всё буду решать не сам я, а другие люди. Выбора у меня больше не будет. Мне надо было решать: сбежать этой ночью и вновь начать вытирать окна машин, чтобы заработать на кусок хлеба, или же ради сытой жизни адаптироваться к здешним условиям. Во всяком случае, в то время второй путь мне казался более приемлемым. В детдомах не видно просвета. Доверять улице невозможно. А здесь было будущее. К тому же, в то время мой рассудок был недостаточно здоровым, чтобы рассуждать о другой жизни. Я ещё не умел сравнивать происходящие события. До этого медресе я видел только смерть и голод. У меня не было никого, с кем бы я мог посоветоваться. Уповать я мог только на семью Самира – однако это они привели меня сюда и бросили здесь, долой с собственных глаз. До сих пор я жил ради того, чтобы раздобыть еду. А по ночам засыпал, радуясь сытому желудку. По утрам просыпался ни свет, ни заря, чтобы вновь раздобыть еду. Утренней поры у меня было много, а вот завтрашних дней не было. Сытая еда и удобная постель – именно это и считалось для меня хорошей жизнью.

Зейд сперва отвёл меня в молитвенную комнату. Он говорил на турецком. В то время я ещё не совсем привык к турецкой речи. Но его стремление терпеливо донести до меня каждое слово не проходило зря: даже не понимая турецкий говор, я с точностью понимал значение его слов.

В молитвенной комнате Зейд поручил мне сесть на полу и ждать его, а сам прошёл во внутреннюю комнату. Молитвенная комната была просторной. Кафедры для проповедника здесь не было, однако по знаку, указывающему направление Мекки, учащиеся знали, где стоять и лицом к чему молиться. Я был крайне удивлён, увидев молящихся в углу юношей. Я однажды видел, как молится Молла Вели: молился он в одиночестве. А эти юноши молились в ряд. От них исходило бодрящее меня здоровое веяние. Увидев, с каким изумлением я наблюдаю за молящимися юношами, один из парней, передвигаясь на коленях, подошёл ко мне и представился:

– Меня зовут Шакир, я родом из Белокана. Знаешь, почему они стоят так, плечом к плечу? – спросил он.

– Не знаю, – ответил я.

– Они стоят так, чтобы во время молитвы в их ряд не вселился дьявол. Отныне ты один из нас. Если мы будем стоять плечом к плечу, то дьявол не сможет очутиться среди нас.

Мне очень понравились слова Шакира. Он был молод, но в его словах чувствовалась уверенность. Отныне всем этим людям предстояло стоять плечом к плечу вместе со мной. Я был уже одним из них. Ни один человек по сей день не предлагал мне так открыто своё плечо. До сих пор я был изгоем. В отличие от детей, избивавших меня ради денег на улице возле светофора, эти мои сверстники смотрели на меня не с ненавистью, а с любовью. Прежде я чувствовал себя изгоем даже в те годы, когда проживал в доме Самира. Мне не хотелось вызывать у кого-либо жалость к себе. Кто-

то измывался над моей слепотой на один глаз, кто-то с насмешкой называл меня сиротой, кто-то издевался над моей старой одеждой, подаренной Самиром. Я хорошо готовился к урокам, однако стеснялся выходить к доске и отвечать. Я был сильней многих мальчишек, однако во время драки нарочно позволял им избить себя, так как до сегодняшнего дня я был настоящим изгоем. Люди постоянно напоминали мне об этом своими взглядами, движениями, словами. А в медресе Шакир, даже не зная меня, принял меня за своего, несмотря на мой слепой глаз. Это сразу же согрело меня.

Я оглядел молитвенную комнату. Все учащиеся медресе, от бородатых молодых людей до юных подростков, сидели на коленях и занимались чтением. Когда мы с Зейдом вошли в комнату, они встали и вежливо поприветствовали нас, затем опять уселись на ковре и продолжили читать. Меня поразила уверенность на лицах этих молодых людей – интересно, как им удалось сохранить эту духовную стабильность?

В комнате царила необычная тишина, духовно возвышающая человека. Наконец, Зейд вернулся в молитвенную комнату. На лице его сияла улыбка. Он позвал меня к себе движением руки и обратился к учащимся медресе:

– С этого дня у вас будет ещё один брат. Вера у вас одна, и с сегодняшнего дня вы должны делить радость и печаль. Ваш путь – это назидание книги, завещанной Пророком. Вы подчиняетесь приказам. Сами ни о чём не думаете – за вас думаем мы. Вам запрещено искать Бога, кроме Аллаха. Не верьте религиозным сказкам и небылицам. На зло отвечайте злом. Вы – бойцы, победители. Нравственность вашего нового брата пока ещё земная. Научите его любить и подчиняться, успокойте его, отгородите от лжи. Его мышление пока свободно от религиозных небылиц и политических выдумок. Это должно радовать вас. Его духовный уровень будет высоким. Знайте это уже сейчас и уважайте его уровень. Он – казий, который своими действиями будет распространять нашу религию. Он – божий дар, который снизошёл к нам с небес. Имя, которым он звался до сих пор, мне не интересно – оно не должно интересовать и вас. Не важно, на каком языке он сегодня говорит. С сегодняшнего дня у него нет и национальности. Все события, произошедшие с ним по сей день, остались в прошлом. Они нас не касаются. Нас не интересует прошлое других людей. Сегодня этот человек заново рождается перед вашими глазами как совершенно новый человек. Примите и любите его. Его имя в медресе – Джафар.

Учащиеся медресе по одному подошли и обняли меня, затем мы с Зейдом спустились во двор медресе и вышли на улицу через ворота, в которые я заехал на машине отца Самира. Мы перешли дорогу и вошли в узкий переулок. Здесь Зейд остановился и обратился ко мне:

– Мы выкупили всю эту улицу для медресе. Весь этот квартал принадлежит нам. Я знаю, что никакого источника дохода у тебя нет, а отца ты потерял. В этом свёртке подходящая для тебя одежда. Раз в месяц ты будешь получать в медресе необходимую сумму денег. Выучи Коран с помощью Аллах, и мы предоставим тебе торговый киоск, чтобы ты смог жениться и нормально жить. Взамен ты должен бескорыстно служить братьям-мусульманам, следующим по пути Аллаха. Начиная с сегодняшнего дня твоё тело и твой разум принадлежат Аллаху. Отныне ты не принадлежишь самому себе. Не забывай об этом. Пока отдыхай. С завтрашнего дня у тебя начнутся занятия. Считай, что до сих пор ты не жил.

Зейд открыл ключом одну из окрашенных дверей, расположенных по всему переулку, и впустил меня внутрь. Как только он ушёл, я лёг на кровать и стал раздумывать обо всём произошедшем. Кем я был до сих пор? Одноглазым изгоем, которого

никто за человека не принимал. С тех пор, как я покинул село, никто не называл меня по имени. Для всех я был просто Одноглазым. А с завтрашнего дня я становился Джафаром. С тех пор, как умер отец, я никому не верил. Медресе возвращало мне веру. Эмир Тарик становился моим вторым отцом. В медресе была создана такая атмосфера, что учащиеся хоть и находились целый день в одной комнате, при каждой встрече они искренне справлялись о здоровье друг друга. Причём этот интерес друг к другу был не показным. Это было искреннее беспокойство человека о здоровье другого человека, желание поделиться горестями. С завтрашнего дня они так же будут беспокоиться и обо мне, обучать меня всему, что мне неведомо. Медресе заменит мне семью. Таким образом думая о завтрашнем дне, я погрузился в сладкий сон.

Рано утром я проснулся на звук призыва на утреннюю молитву. По совету Зейда я вместе со всеми спустился в баню и совершил омовение, после чего прошёл в молитвенную комнату. Зейд научил меня совершать утреннюю молитву. Завершив молитву, мы вошли в комнату Эмира Тарика. Эмир Тарик поприветствовал меня стоя и сообщил, что день, в который я буду находиться на божественной службе, считается удачным днём и в истории ислама. Он поздравил меня и отправил на занятия.

С первого же дня мне понравились преподаватели, терпеливо обучающие меня истории религии и исламскому праву. Они восприняли меня не как непросвещённого ученика, а как полноценного человека. В их глазах я не был униженным, обделённым, жалким; они не считали меня обиженным изгоем. Для них я прежде всего был человеком. Вначале они выслушали, смогли услышать меня. У них хватило терпения на это. Здесь я обрёл близких мне по духу людей. Я был среди людей, живущих не страстями, а мышлением.

Через год это медресе действительно стало моим родным домом. Я впервые после смерти родителей попал в среду духовно близких мне людей. Первые личные вещи я купил себе именно в этом медресе. Впервые я приобрёл личные часы, ручку, зубную щётку. Именно здесь я стал самим собой. Парни, учащиеся со мной в медресе, были уверенными в себе людьми. Среди них было немало тех, кто прибыл учиться в Баку из других стран. Наряду с духовными занятиями наши преподаватели читали нам лекции о мировых науках. Мы изучали военную историю современного мира, политический строй разных стран, несколько иностранных языков. Нас учили также стрельбе, ведению пропаганды среди врагов. Но самым моим любимым уроком был урок Зейда. Зейд внедрял нам свои мысли как молитву. Эти молитвы я помню до сих пор:

– Сильные страны, напитавшие мировую политику нашей кровью, хотят управлять миром в одиночку. У них имеется новейшее оружие, создаваемое в условиях технологического прогресса. Все банки мира также принадлежат им. Но у этих тварей нет ни Книги, ни веры. Мы завоюем весь мир не оружием, а своим учением и своей верой. Вера сильнее оружия. Вы – граждане всех мусульманских стран. Я воспитываю вас для сражения. Вы должны или погибнуть за веру, или стать казиями. Третий путь мне неведом. Ваш долг – взяться за оружие и защищать своих братьев-мусульман, сестёр-мусульманок и весь обездоленный верующий люд.

Каждый раз, завершив урок, Зейд с любовью глядел на меня. Я был сообразительным и воспринимал сказанные им слова быстрее и яснее, чем другие учащиеся. Успел даже выучить Коран. За годы учёбы в медресе я открыл три великие истины, регулирующие моё сознание. В первую очередь, я осознал, что всё, что происходит на свете, случается с согласия, по приказу и при участии Аллаха. Эта истина позволила мне найти ответ на вопрос, годами терзающий мою душу: «Виновен ли я в убийстве

матери?» Ответ был таков: «Мать бы не умерла, если бы на то не было воли Аллаха». Именно Аллах в тот день шепнул мне, что мать предпочтёт умереть, нежели сдаться армянину. Я не убивал мать – наоборот, я спас её. Этого от меня потребовал Аллах, так как Аллах – всевидящий и всезнающий. Ничего не происходит без его воли и согласия. Это спасение не заключалось лишь в банальном наставлении моего отца: «Ты должен уберечь честь матери!» Это спасение было желанием Аллаха. А я, как раб Аллаха, выполнил его волю.

Вторая открывшаяся мне и осознанная мной истина заключалась в том, что каждый человек должен быть достаточно смел для того, чтобы пожертвовать своей жизнью ради Аллаха. Если от тебя требуется погибнуть ради спасения своих набожных братьев, то погибай, не задумываясь. Твоя жизнь, временно предоставленная тебе свыше, всё равно принадлежит не тебе, а Аллаху. Ты появился в этом бренном мире для того, чтобы обменять свой дух. И ты должен решать, на что и с кем ты будешь его обменивать. Если твои братья требуют от тебя твою жизнь, то непременно отдай – на том свете ты будешь вознаграждён за это. Столь простой обмен жизнью имеет огромный смысл.

А третьим открытием, сделанным мной в медресе, была справедливость Священного Сражения. Вначале я не понимал смысл «Священного Сражения», которому нас обучали в медресе. В детстве я навидался смерти, поэтому считал, что лучше дарить человеку жизнь, чем убивать его. Позднее я удостоверился в обратном. Язык учёного – это его учение, а язык неуча – его молчание. Язык бойца – его сражение. Сегодня со мной говорят на языке сражения. Как я могу отвечать им на языке учёных? Люди, которые будут убивать меня, не понимают учёного языка. Их намерение – убить меня. Око за око, зуб за зуб… Сегодняшний набожный человек – этот тот, кто сражается с оружием в руках.

Объединив эти три истины в единую мысль, я написал на стене своей комнаты следующие слова: «Я сражался и пал по воле Аллаха!» В медресе я научился умирать за веру. К этому я был готов и духовно. Об этом моём желании знали все мои преподаватели, в том числе и Зейд, который хвалил меня при каждой встрече. Я хотел мстить. И врага своего в то время я знал – это были армяне, которые заживо сожгли моего отца в мечети и заставили меня убить родную мать.

Только Эмир Тарик говорил: «Всему своё время, не торопись, пока занимайся!» Радуясь чувству мести, наполнившему мою душу словно чувство любви, я терпеливо занимался, зная, что недалёк тот день, когда я с оружием в руках встану лицом к лицу со своим врагом. Я пришёл в медресе за учёбой, но Аллах хотел видеть меня бойцом. Это была моя участь. Я не буду приспосабливаться к истории, как мой отец, я буду менять историю.

Наконец однажды вечером Эмир Тарик вызвал меня в свою тёмную келью:

– Собирайся, – сказал он, – завтра едешь вместе со мной в Пакистан. Отныне твоё имя в документах – Джафар Челеби. Отныне ты не азербайджанец, а афганец, гражданин Афганистана. Твои документы у меня. Их прислали из Афганистана. Зейд воспитал тебя всесторонним верующим бойцом. Там тебе покажут твоего настоящего врага. Чтобы сражаться с ним, тебе придётся на протяжении нескольких месяцев пройти учение в нашем медресе, которое функционирует там. Ну, что ты скажешь? Согласен? Если не готов, то можешь отказаться, я тебя пойму.

Я уповал только на Аллаха, и Аллах хотел, чтобы этой ночью я уехал в Пакистан. Иначе Эмир Тарик не говорил бы мне об этом от его имени. Я знал, что Эмир Тарик

везёт меня в Пакистан не для того, чтобы со мной занимались учёные. Там меня должны были готовить к священному сражению. Из нашего медресе на это сражение ушли многие. Нередко бывало так, что ребята, ежедневно молящиеся вместе со мной, по одному внезапно исчезали. А говорить о наших пропавших товарищах было запрещено. Согласно инструкции нашего медресе, вмешательство не в своё дело равнялось вмешательству в дело Аллаха. За это строго наказывали Аллах и сам Эмир Тарик. Но невзирая на строгое наказание, в медресе ходили слухи, что внезапно исчезнувшие ребята уехали в Афганистан для сражения в священных духовных боях. И многие из них, не имея подготовки, погибли в первом же сражении.

В медресе готовили и тех, кто должен был остаться в Баку и вести духовную работу с местным населением. Это были, в основном, физически слабые ребята, вера у которых была не так уж и сильна. Видимо, меня не причислили к этим физическим слабакам, несмотря на мою слепоту на один глаз. За это я был очень благодарен своим преподавателям. «Кто я такой, чтобы не соглашаться, если на то воля Аллаха?» Именно по воле Аллаха мы в семь часов утра сели в самолёт и улетели в Пакистан.

У взлётной полосы аэропорта нас встретил автомобиль «Джип», на котором мы объездными путями пересекли границы неизвестных мне стран, и ближе к вечеру приехали в медресе, о котором говорил Эмир Тарик. Слухи, ходившие в Баку, подтвердились: это действительно была военная база.

Среди бойцов этой базы были и учащиеся нашего медресе. База была расположена в пустыне. Ничего, кроме песка, вокруг не было. Единственной возвышенностью на этой местности была скальная глыба туманного цвета. За колючими проводами военной базы, расположенной под этой скалой, находились семь солдатских казарм, построенных из глиняного кирпича, две мечети и большая столовая.

Когда мы прибыли на базу, возле столовой сидели бородатые бойцы в чалмах, и смотрели выступление артистов английского цирка, приехавших из Европы развлекать их. В отличие от сдержанных, серьёзных преподавателей медресе, работающих в Баку, эти моджахеды были свободными и раскрепощёнными. Они громко смеялись, направляли оружие на выступающих артистов и грубо шутили.

Мы с Эмиром Тариком вышли из машины и немного прошлись, чтобы размять ноги. Затем, после долгого ожидания возле дверей, нас принял начальник базы. Эмир Тарик трижды поцеловал этого низкорослого блондина в плечо и уселся на табуретке, обитой оленьей шкурой. Поприветствовав начальника базы на английском языке, он напомнил ему, что меня зовут Джафар. Начальник базы встал, резкими шагами подошёл ко мне и спросил на арабском языке:

– Ты знаешь, куда ты попал?

Я ничего не ответил. Он положил руку мне на плечо:

– Мы находимся на учебной базе моджахедов «Лешкери-Имам»[1]. Мы сражаемся во имя свержения Наджибуллы и создания в Афганистане государства Сардари-Узбек. Готов ли ты умереть вместе с нами? – спросил он.

– Конечно, если на то воля Аллаха! – не задумываясь, ответил я.

Начальник базы обратился к Эмиру Тарику:

– Я благодарю тебя за хорошо проделанную работу! Джафар – человек с убеждениями, готовь его к смерти…

Эмир Тарик встал, подошёл ко мне и поцеловал в лоб:

– Со сражением тебя! – сказал он.

[1] Лешкери-Имам – дословно: войско имама.

Мы вышли из комнаты начальника базы и пошли на оружейный склад, расположенный в одной из солдатских казарм. Эмир Тарик взял для меня со склада комплект военного обмундирования, американские сапоги, ручные гранаты и автоматную обойму.

После ужина Эмир Тарик сообщил, что хочет пройтись по территории базы. Как только мы отошли от казарм, я понял, что он хочет мне что-то сказать. Я остановился перед железной проволокой, окружающей военную базу, и сказал:

– Я вас слушаю!

Обрадовавшись столь лёгкому началу разговора, Эмир Тарик шепнул мне:

– Я предлагаю тебе не сражаться, а умереть во имя Аллаха. Сможешь ли ты сделать это?

Я не мог смотреть в его прослезившиеся от волнения глаза. Бросив автомат на землю, Эмир Тарик обнял меня. Я был растроган этими объятиями. Мне стало жалко себя. Внезапно в глубине души у меня возникло чувство страха к этому человеку. Я начал бояться и себя, и бородатых моджахедов, находящихся на военной базе. И я вдруг осознал, что боюсь умереть. На самом деле, честно говоря, я боялся смерти ещё с детства. Хотя знал, что смерть неизбежна – все люди смертны, в том числе и я. Рано или поздно я тоже, как и вся моя родня, уйду в иной мир. Я знал всё это, но всё же боялся смерти. Иначе, пристрелив мать, я пустил бы пулю и в себя самого. Но как мне теперь сказать об этом Эмиру Тарику? Как мне, нарушив игру, признаться ему, что я боюсь умереть? Он не поймёт меня. Убьёт сразу же. И хотя меня ничего с этим миром не связывало, мне хотелось продолжать боязливо жить. А как же моё обещание Аллаху? Ведь Аллах желает моей смерти.

Эмир Тарик словно прочёл мои мысли.

– Почему молчишь? – спросил он, оттолкнув меня в сторону.

– Конечно же, смогу! – ответил я, кое-как скрывая страх.

Он подобрал автомат и протянул его мне:

– Ты привыкнешь и к смерти, сынок! Не бойся! – сказал он.

Утром Эмир Тарик, не попрощавшись со мной, вернулся в Баку. В первые дни мне было сложно приспособиться к базе, но постепенно я привык. Здесь я чувствовал себя как рыба в воде. Мне было спокойно среди смелых, бесстрашных людей, перебирающих смерть в руках как чётки. Мне было вполне по душе свободно передвигаться с оружием в руках и называть эту свободу сражением во имя Аллаха. Я нуждался в оружии, чтобы прятаться за ним. Здесь я не стеснялся даже своей слепоты на один глаз. На военной базе никто не глядел в отдельности на лица и конечности людей, люди оценивались исключительно по смелости. Если у кого-то здесь был какой-то изъян, то никто не подавал вида, что замечает это. Человек проявлялся здесь исключительно своими действиями и убеждениями. Я был избранным, которому когда-то предстояло умереть во имя веры, и именно за это меня и уважали. Я был смельчаком, готовым надеть пояс со взрывчаткой и унести вместе с собой на тот свет неугодных Аллаху людей. Мои действия скрывали мои страхи. Меня готовили к тому дню, когда мне предстояло превратиться в ангела смерти.

Учения начались на следующий день после моего прибытия на базу. Здесь я также осознал, что смерти не боятся только мертвецы. Даже среди моджахедов, которые стояли лицом к лицу со смертью с оружием в руках, были те, кто очень боялся смерти. «Дело не в страхе – дело в том, что нужно перебороть в себе страх». Это мне говорили французские офицеры, проводившие учения на базе.

После занятий я ложился в казарме на кровать и пытался осознать себя. Я был ангелом смерти. Мне предстояло когда-то надеть пояс смерти и вместе с собой убить богохульников. Значит, со дня моего прибытия в медресе Эмир Тарик готовил меня к смерти. Интересно, а почему именно меня? Только потому, что у меня никого нет? Потому, что после смерти меня никто не будет искать? Я верил преподавателям, внушившим мне, что я выбран по воле Аллаха, и путь, по которому я следую – это путь Аллаха. Я и сам хотел этого. Но Эмир Тарик должен был сообщить мне об этом в первый же день моего прибытия в медресе, чтобы я мог как следует подготовиться к смерти. Смогла бы эта смерть осчастливить меня? Нет. Мне хотелось убивать, а не умирать. Я вступил в священное сражение во имя мести и поэтому всё ещё хотел жить. Но единственной моей привязанностью в этой жизни были медресе и полученные в нём знания, которые требовали от меня умереть во имя Аллаха. Я понимал, что с момента встречи с начальником базы я ищу повод для того, чтобы не умирать, при этом убеждая себя в правильности смерти во имя Аллаха. Интересно, почему? Что меня вынуждает добровольно умереть в столь молодом возрасте? Мой моральный долг перед медресе? А почему я должен расплачиваться за этот долг своей жизнью? Может, страх? Чего же я боюсь? Аллаха? Эмира Тарика? Может, боюсь вновь стать отверженным изгоем? Ответов на эти вопросы у меня не было.

После учений меня отвели в подвал казармы, чтобы я наблюдал со стороны за допросом какого-то богохульника. Мне нужно было учиться также допрашивать врага. Обвиняемой была афганка, которая с открытым лицом общалась в отсутствие мужа с соседским мужчиной. Никто не слышал, о чём они говорили, никакого свидетеля той беседы не было. Это были всего лишь слова её мужа.

Когда я вошёл, в комнате стоял запах горелого жира. Два бородатых моджахеда только что вытащили голое тело женщины из газовой духовки. На полу были разбросаны непрожаренные красные куски мяса. Другой моджахед средних лет с чалмой на голове распиливал электрической пилой груди сожжённой женщины. При виде этого зрелища меня затошнило, и я вырвал прямо на пол. Преподаватель военного учения, который привёл меня в подвал, покачал головой и, схватив меня за руку, вывел наружу. Конечно, богохульники были достойны и более сурового наказания – просто я пока что не был готов наблюдать подобные жестокие зрелища.

После того допроса я остался на военной базе и на протяжении двух недель терпеливо учился приводить в действие взрывчатку, которой я должен был опоясаться и погибнуть за веру. На последней учебной тренировке присутствовал также начальник базы, который поздравил меня и поцеловал в лоб.

За несколько месяцев пребывания на базе я научился также готовить ручные бомбы, водить автомобиль и мотоцикл, бороться врукопашную в ближнем бою и прыгать с парашютом. Я сдал экзамен военным преподавателям по всем этим дисциплинам. Затем меня с несколькими моджахедами отправили смотреть со стороны на церемонию самовзрыва бойца, который должен был «превратиться в ангела». Церемония должна была состояться в Кабуле, в конференц-зале отеля «Хилтон». Моджахед в поясе со взрывчаткой сидел в первом ряду среди журналистов. Он спокойно оглядывался по сторонам и улыбался. Вместе с собой он должен был взорвать также продажных руководителей Объединения Арабских Государств, которые продали мусульман дьяволу ради собственного трона. Я с нетерпением ждал момента, когда «ангел смерти» совершит взрыв – не сводил с него глаз, пытался запечатлеть в памяти каждое его движение.

Внезапно модератор заседания вышел на сцену и объявил об отмене мероприятия в силу террористической опасности. Тут же вооружённые солдаты окружили моджахеда-самоубийцу. Поняв, что будет арестован, моджахед встал и с улыбкой притронулся к поясу. Взрыв произошёл так внезапно, что я не смог разобрать, испугался ли моджахед в последний миг или нет. Куски его разорванного в клочья тела были разбросаны по креслам, в которых должны были сидеть руководители арабских государств. Никто, кроме погибшего, не пострадал. Моджахеды, которые привели меня наблюдать за этой церемонией, немного прогулялись со мной по городу для обеспечения безопасности и вновь вернули меня на базу.

Ближе к утру база всем составом вылетела в Англию. Разрешения на въезд в Англию у меня не было, поэтому меня вернули в Баку, поручив дожидаться особого приказа. Эмир Тарик, с радостью встретив меня в Баку, промолвил:

– Имей терпение – на днях твоя мечта сбудется!

Я вновь остался лицом к лицу со своей смертью. Ожидая задание, я около месяца прожил кое-как со своей опустошающей душой, даже не совершая намаз. У меня было двоякие ощущения. Я не хотел ни умирать, ни жить. Зейд рассказал о том, что меня ожидает во всём медресе. Учащиеся медресе относились ко мне, как к гостю Аллаха, выполняли все мои пожелания. Я больше не сомневался в правильности своего пути и смирился со всем происходящим. Это был мой собственный выбор, но и страх мой никуда не исчез – он был при мне и каждое утро испытывал мою веру.

Однажды я сидел в одной из пустых комнат медресе и читал книгу. Зейд вошёл в комнату и спросил:

– Тебя спрашивает девушка по имени Диляра – хочешь ли ты увидеться с ней?

Услышав имя Диляры, я вздрогнул. Видеть её я не хотел, но мог справиться у неё о Самире – было бы неплохо перед смертью встретиться с ним. Кроме него, у меня не было никого, с кем я мог бы попрощаться. Я встал и прошёл в комнату для встреч. Увидев меня, Диляра всплакнула и прижалась ко мне.

Прикасаться к чужой женщине было небогоугодно, однако тепло, исходящее от её тела, пахнущее по́том и дорогими духами, взбудоражило мне душу и вернуло меня назад на несколько лет.

– Спасибо тебе, что не сдал меня тогда моей семье, – шепнула Диляра мне в ухо.

Схватив её за руку, я оттолкнул её и уселся на полу. Диляра выглядела поникшей – её лицо потеряло свой блеск, и от некогда взбалмошной, самонадеянной, гордой девушки не осталось и следа. Было видно, что жизнь сломала её. Диляра дрожащим голосом рассказала, что через два месяца после того, как меня привели в духовное медресе, её отца расстреляли компаньоны. У матери от этого случилось психическое расстройство, и она потеряла рассудок. Спустя некоторое время Самир проиграл в карты их дом и сбежал в Россию. Теперь она одинока, работает уборщицей в парикмахерской на первом этаже отеля «Абшерон». Жить ей негде, поэтому сняла квартиру. Считает, что Аллах покарал её семью из-за меня.

Слушая эту душераздирающую историю Диляры, я всё больше убеждался в могуществе Аллаха. Интересно, какова была бы моя участь, если бы в то время Диляра полюбила меня и мы поженились бы, несмотря ни на что? Ведь, женись я тогда на Диляре, я стал бы зависим не от Аллаха, а от их семьи. Слава Аллаху, что всё сложилось именно так. Теперь я завишу только от Аллаха, а Аллах не проиграет своего дома и не сбежит в Россию. Если кто-то делает к нему шаг, то Аллах совершает навстречу

этому человеку пять шагов. Отныне я не тот отверженный одноглазый мальчуган. Сейчас я Джафар – спаситель движения, которое доходит аж до Пакистана. А Диляра – распутная женщина. Нас больше ничего не связывает. Диляра протянула мне визитку и, уходя, остановилась у дверей и взглянула на меня:

– Я каждую неделю буду навещать тебя, – с горечью промолвила она. – Не думай, что в то время я не догадывалась о твоей любви и сама не любила тебя в глубине души...

Её последние слова вселили в мою душу волну тщеславия. У меня появилась возможность отомстить единственной девушке, которую я когда-то любил. Вахтёр медресе, услышав последние слова Диляры, тоже ожидал моего ответа, поэтому я промолчал. Однако когда я узнал, что она любит меня, у меня на мгновение подогнулись колени.

На самом деле, чтобы не нарушить канонов медресе, увидев Диляру, я был обязан выгнать её прочь. Она прибыла в медресе в вызывающей одежде, привлекающей мужские взгляды. Но выгнать её я почему-то не смог.

Я также понимал, что Эмир Тарик непременно узнает об этой моей слабости. Через двадцать минут после ухода Диляры Эмир Тарик вызвал меня в свою комнату. Я никогда не видел его таким разгневанным. Он не смотрел на меня – стоял перед окном и глядел во двор. И только спустя пять-шесть минут после моего прибытия спросил:

– А почему ты не говорил, что у тебя есть родственники в Баку?

– Она мне не родственница, – ответил я.

Эмир Тарик раздражённо прошёлся по комнате и наконец встал передо мной:

– Знает ли та женщина, на какой высоте ты находишься? – грозно спросил он. – А ты сам знаешь, что не можешь любить никого, кроме Аллаха?

Я не смог ответить на эти строгие вопросы. Воцарилась тишина. Внезапно Эмир Тарик гневно швырнул на пол чётки. Толстая нить, на которую были нанизаны бусины чёток, оборвалась – бусины рассыпались по комнате. Звук бусин, катящихся по полу, звенел в моих ушах как боевой колокол. И вновь воцарилась тишина. Наконец Эмир Тарик нарушил тишину более мягким голосом:

– Такова и слабая вера. Она рассыпается от одного удара, как эти чётки. Поверь мне! Никогда не проявляй слабость…

Я молчал.

– Ты ничего не говорил ей о своих планах? – спросил Эмир Тарик.

– Нет, – ответил я.

Эмир Тарик вновь прошёл к окну и уже оттуда крикнул:

– Ты должен убить эту женщину, слышишь? Она – твой грех!

Я не хотел убивать Диляру – я не был готов к этому. Эмир Тарик вновь прочёл мои мысли по глазам. Подошёл ближе, схватил меня своими громадными руками и поднял над полом:

– У этой женщины не осталось ничего святого, кроме тебя! Ей нужна твоя чистая любовь, чтобы не опуститься в своих глазах. А твоя любовь принадлежит не тебе, а Аллаху. Убей её – иначе я сам убью тебя! – разъярённо промолвил он и опустил меня на землю.

Когда я выходил из комнаты Эмира Тарика, у меня от страха тряслись колени.

Немного успокоившись, я попытался разобраться в произошедшем. Если Эмир Тарик, вырастивший меня как своего сына, хочет, чтобы я убил Диляру, которую я

когда-то любил, значит, на это есть и воля Аллаха. Ведь Аллаху ведомо всё. И если на всё воля Аллаха, то почему я должен гневить его ради какой-то Диляры? По воле Аллаха я когда-то убил свою мать. Кто такая Диляра по сравнению с моей матерью? Во-первых, убить Диляру не так уж и трудно. И, несмотря на то, что при виде неё у меня трясётся душа, она для меня давно мертва. Во-вторых, Диляра ведёт распутную жизнь, убивает в людях веру, ставит удовольствие против веры. Убить её – богоугодное дело согласно учениям медресе. Это дело соответствует и моему убеждению. Даже хлеб, который я ел в их доме, не искупает её сегодняшних грехов. Распутная женщина должна умереть. Этого от меня требует не Эмир Тарик, а Аллах.

Ближе к вечеру Эмир Тарик пришёл ко мне в комнату:

– Будь осторожен, убивая её, – сказал он, – не стреляй, иначе поднимется шум, тебя поймают!

Я нашёл Диляру по визитке, которую она мне дала. Вечером мы встретились и немного прогулялись по Площади Фонтанов. Затем она пригласила меня в свою съёмную квартиру. Уже наступила ночь. Войдя в квартиру, Диляра тут же прошла в ванную комнату; по журчанию воды было понятно, что она принимает душ. Я открыл дверь и вошёл в ванную. Диляра восприняла это по-своему, и кокетливо промолвила:

– Не торопись, дай мне помыться!

Было странно, что Диляра, занимающаяся проституцией, перед смертью решила помыться. Видимо, это тоже было по воле Аллаха. Теперь я понимаю, что мне надо было позволить ей помыться перед смертью. До Диляры я никогда в жизни не видел голой женщины. Её загорелое, возбуждающее тело взбудоражило меня. Я чувствовал внизу живота необычную теплоту, которой никогда раньше не ощущал, и эта теплота теребила мою волю, рассеивала мысли. Диляра с улыбкой глядела мне между ног. На её лице появилось странное любопытство. Долго не раздумывая, я снял брюки и вошёл в ванну, в которой стояла Диляра. Диляра сразу раздвинула ноги и позволила мне сблизиться с ней. Обняв её намыленное тело, я в одно мгновение позабыл обо всём на свете. Затем я схватился за её тонкую шею и начал давить. Диляра стонала от боли и удовольствия. А я был не в себе – всё тело дрожало, темнело в глазах.

Придя в себя, я убрал руки с её горла. У неё изо рта текла пена. На лице застыло странное выражение – словно она хотела ещё раз поцеловать меня. Проверил её дыхание – она была мертва. Я поспешно оделся и вышел на улицу. Спускаясь по лестнице, невольно шепнул: «О, Аллах, прости меня!» Я и сам не понимал, почему просил у Аллаха прощения за то, что убил распутную женщину во имя Аллаха. Вернувшись в медресе, я вошёл в комнату Эмира Тарика и, ничего не утаивая, рассказал ему о случившемся. Эмир Тарик некоторое время молчал, затем разразился нервным смехом:

– Эта потаскуха добилась своего – ты должен был погибнуть девственником, чтобы достичь самой высокой святости! – яростно сказал он и, внезапно прекратив смеяться, дал мне сильную пощёчину. От удара я упал навзничь и потерял сознание.

Когда я пришёл в с себя, Зейд по приказу Эмира Тарика посадил меня на десять дней в закрытую келью, чтобы я смог подумать об Аллахе.

После того, как я убил Диляру, в моей душе появился какой-то непонятный, тихий шёпот. Этот шёпот напоминал мне шёпот моей бабушки с матерью втайне от отца, а также стон Диляры. Порой этот шёпот звучал как шорох листопада. А иногда мне казалось, что шёпот этот не нов; он звучал в моих ушах и раньше, и после смерти Диляры этот шёпот пытается заставить меня сказать что-то вслух. В течение этих десяти дней своей отсидки в узкой келье, без еды и воды, я только лишь пытался понять,

что именно хочет донести до меня этот шёпот – однако, как ни старался, не смог ничего понять. Этот шёпот звучит в моих ушах по сей день – видимо, хоть и невнятно, но что-то говорит. Возможно, разобрав этот шёпот, я смог бы осознать себя. Мои уши прислушивались к внешнему миру, и поэтому я не мог слышать этот шёпот, и он не мог выйти из меня на белый свет. Я убил его в себе, как когда-то убил свою мать. Через десять дней меня выпустили из кельи и увели в комнату Эмира Тарика. Одиночество – худший из страхов. Мне осточертело одиночество. Когда я входил в комнату, Эмир Тарик сидел за столом и что-то писал в чёрной тетради.

– Ну что, пришёл в себя? – спросил он, не глядя на меня.

– Кажется, Аллах разгневан на меня, – ответил я.

Он левой рукой приказал мне сесть. Я уселся на полу. Закончив писать, Эмир Тарик поднял голову:

– Если Аллах разгневался на тебя, значит, ты всё ещё рядом с Аллахом! – промолвил он.

Я молчал, не зная, что сказать. Он подошёл ко мне, и я невольно встал. Он засунул бумагу, которую писал при моём прибытии, в мой нагрудный карман и, глядя на меня с сожалением, сказал:

– Передашь это письмо имаму. Я посылаю тебя в Афганистан – после того, как ты повоюешь и смоешь свои грехи, я вновь поцелую тебя в лоб, если на то будет воля Аллаха. Я не могу видеть, как падают ангелы – у меня болит сердце!

Независимо от себя, я нагнулся и поцеловал Эмиру Тарику руку.

Через три дня я был уже одним из трёх моджахедов, наказывающих в военном лагере афганского города Кандагар безоружную сельскую семью – за то, что они прятали хлеб. Стреляя из автомата в младшую дочь сельчанина, я верил от всей души, что благодаря этому убийству Аллах простит мне мою близость с Дилярой.

В день моего прибытия в Афганистане пошёл снег. Снег в Кандагаре – большая редкость. Имам лагеря, связавший моё прибытие в Кандагар со снегом и со своими бедуинские поверьями, почему-то очень обрадовался этому. Пригласив меня на зелёный афганский чай, он неожиданно начал рассказывать про себя. Он был достаточно молод – между нами было все лишь пять-шесть лет разницы. Оказалось, что он тоже сирота, как и я. Добровольно погибнуть за веру он не решился, но в боях проявил небывалую смелость. Имама, осиротевшего в возрасте девяти-десяти лет, взяли на попечение американцы, обучающие афганских детей для участия в сражениях против вооружённых советских солдат. За пару лет они вырастили из него настоящего бойца. С тех пор имам не выпускал оружия из рук – боролся против советской армии до конца, пока солдаты не покинули Афганистан. После ухода советских войск он был одним из инициаторов свержения Наджибуллы. В настоящее время он сражается против игрушечного афганского правительства, созданного американцами. Имам далёк от политики; его дело – сражаться. Сражение нужно ему, как воздух и вода. Когда не сражается, он болеет. Сражение для него – как игра в нарды с соседями. Ложась на кровать, имам уставился на меня своими большими глазами и сказал:

– Я скучаю без сражения. Мне нужно каждый день пускать во вражескую сторону пару пуль – это для меня такая же естественная потребность, как еда и питьё. Когда не стреляю, у меня болит голова. Видишь этот военный лагерь? Не думай, что сюда приходят только те, кто, как ты, желает погибнуть во имя Аллаха. Мы – пламенный очаг всей исламской географии. Мы хотим выжить. Поэтому держим в руках оружие. В этих местах всегда будет спрос на бойцов. Отсутствие здесь бойцов нико-

гда не будет выгодным кому-либо. Все сильные страны постоянно подбрасывают в наше пламя сухую древесину, чтобы оно никогда не гасло. Все смешанные страны управляются, и ещё много лет будут управляться нашим оружием и страхом. Ни одна из этих стран никогда не умиротворится и не усилится. Люди в этих странах никогда не объединятся вокруг единой мысли. Ни справедливого руководителя, ни идейного имама здесь никогда не будет. Ты не обращай внимания на заседания этих временных игрушечных правительств. Здешними местами управляем только мы, своим оружием. Мы наказываем также обнаглевших политиков, сбивающихся с пути и забывающих тех, кто привёл их на эту должность. Если бы ты знал, сколько таких умничающих политиков я убил собственными руками… Всё это я рассказываю тебе не просто так. Я увидел над твоей головой Аллаха. Ты удачливый человек. Глядя на тебя, я вижу себя самого. Не сворачивай от этого пути. Никто не будет уважать тебя, если у тебя в руках не будет оружия. Чтобы тебя любили, тебя должны бояться.

После этих слов имама я стал смотреть на Афганистан иными глазами. С того дня, как Афганистан начал управляться из Пакистана, наш лагерь сражался. За счёт денег, поступающих в наш лагерь из Европы, мы покупали у американских военных баз оружие и нападали на доступные сёла. Если там был представитель правительства, то мы убивали его на глазах у народа и управляли селом по своим законам. Афганцы и сами не миролюбивы – они тоже, взявшись за оружие, сражались и против американцев, и против нас, не желая подчиняться нашим законам. На протяжении многих веков они жили по своим собственным законам. Во многих регионах Афганистана располагались наши военные лагеря. Мы насильно приводили в лагерь провинившихся афганских сельчан и судили их по законам шариата, наказывали в соответствии с совершившимся грехом. Бои шли каждый божий день, и в этих боях погибало не менее пяти-шести моджахедов. А некоторые даже без боёв пропадали без вести. Их судьба чаще всего оставалась неведомой. Бывали и те, кто подрывался на мине. Нередко против нас совершались террористические акты. У афганцев была местная полиция и войско, которых вооружала Организация Объединённых Наций. Мы не только сражались против этих бойцов – мы также занимались с ними торговлей оружием. Среди американцев было немало наших друзей. Больше всего их интересовали наркотики. Каждый, кто имел оружие, считался в этой стране силой. А у сильного, как известно, всегда бессильный виноват… Никто в этой стране честным трудом не зарабатывал. Те, кто имел оружие, занимались грабежом. А безоружные искали оружие, чтобы также грабить. Больше всего угнетались местные афганские племена – они работали целыми днями, но оставались голодными. В первые дни я не мог понять, с какой стати от этих людей, утопающих в бедности, требуется любовь к Аллаху – у них, вроде бы, нет времени думать об Аллахе. Но позднее я тоже осознал «афганскую истину». Этих людей нужно держать голодными, так как сытыми они бывают ещё хуже. Я пробыл в Афганистане, в лагере моджахедов, около двух лет, пройдя сквозь огонь и воду – получил ранение, закалился, убив десятки богохульников.

Однажды мы получили поручение с нашей центральной базы, расположенной в Лондоне. Завтра вечером мне вместе с узбекским моджахедом предстояло взорвать автомобильный караван, везущий из Ирана оружие. Узбекский моджахед был профессиональным бойцом – прошёл две войны. Однако военной теории он не знал. Моих слов не слушал. Я узнал маршрут автомобильного каравана, следующего из Ирана. Автомобили, загруженные оружием, должны были следовать, в основном, по пустыне и горным тропам. Взорвать автомобильный караван на такой открытой местности было

сложно. Водитель мог в любой момент изменить направление. А взорвать передвигающийся автомобиль было невозможно. Последней остановкой оружейного каравана был город Герат. Я решил взорвать машины там. Рано утром мы выехали в Герат. Чтобы мы могли добраться туда, нам выдали старый кадиллак. Водителем был узбекский моджахед. Самым опасным в Афганистане были дороги. Большинство смертей в этой стране случалось на дорогах. Города и сёла в Афганистане находились под контролем различных военных группировок. Всей стране было известно, кто каким районом управляет. А дороги были столь опасны потому, что они никому не принадлежали. На дорогах можно было встретить что угодно и кого угодно. Дороги считались свободной территорией, поэтому каждый мог делать на них всё, что заблагорассудится. Таковы были неписаные законы этой страны. Мы выехали на «свободную дорогу» утром. Сразу же по приезде в Герат мне предстояло изготовить бомбу для уничтожения иранских машин. С базы я ничего с собой не взял. На нашем пути располагался большой американский пост, где могли проверить машину. Детали, необходимые для изготовления бомбы, уже были доставлены в нашу штаб-квартиру, расположенную в Герате. Для нас были подготовлены также оружие и боеприпасы. Во время полуденной молитвы мы доехали до первого блокпоста, расположенного на дороге в Герат. У обочины дороги стояли американские солдаты. Они приказали узбекскому моджахеду остановиться. Соблюдая правила, мы вышли из машины, держа в руках свои документы. Сначала американские солдаты проверили багажник машины. Затем один из них подошёл к нам. Мы оба, улыбаясь, одновременно протянули им свои документы. Забирая у нас документы, солдат тоже улыбнулся – ему понравилась наша синхронная улыбка. В это время узбекский моджахед, дабы снять напряжение, поприветствовал солдата на английском языке. Солдат, вздрогнув от приветствия узбекского моджахеда, взглянул на меня. Моя слепота на один глаз напугала его ещё больше. Подумав немного, он попросил нас подождать минутку и, забрав наши документы, направился к будке. Через некоторое время он вернулся обратно с четырьмя американцами и, подойдя к узбекскому моджахеду, спросил:

– Откуда ты знаешь английский?

Узбекский моджахед, почувствовав, что запахло жареным, неожиданно накинулся на заподозрившего его американца и, отобрав у него оружие, выстрелил в стоящих перед нами солдат. Трое из четверых американских солдат погибли на месте. Подобный поворот событий ошарашил меня, но я сразу же взял себя в руки и спрятался за кадиллаком. Оружия у меня не было, поэтому мне нечем было защищаться. Я лёг на землю и пополз по-пластунски по обочине дороги, пытаясь уйти подальше от опасности. А узбекский моджахед продолжал отстреливаться. Скорее всего, американские солдаты сообщили о произошедшем в свой штаб. Их военная база находилась неподалёку. Через пару минут сюда должны были прибыть американские военные машины, полные солдат. Америка со спутника наблюдала практически за всей территорией Афганистана. Даже наша перестрелка была запечатлена специальными радарами. Узбекский моджахед в одно мгновение провалил порученную нам операцию. Мне нужно было добраться до Герата любой ценой и выполнить задание, так как оружие, привозимое из Ирана, в завтрашнем сражении должно было использоваться против нас. Необходимо было подорвать доставлявшие его автомобили. Меня готовили к этому, а не к перестрелке у блокпоста. Мне надо было сесть в машину и во что бы то ни стало проехать этот блокпост. Я посмотрел в сторону солдатской будки. Машина стояла недалеко. Я резко встал и крикнул узбекскому моджахеду:

– Прикрой меня!

Услышав мой голос, американские солдаты начали стрелять в мою сторону. Одна из пуль попала мне в ногу. Не обращая внимания на рану, я бросился в кабину и завёл мотор. Узбекский моджахед, перестреливаясь, тоже подбежал к машине. Я повернул руль вправо, чтобы узбекский моджахед мог сесть в машину, и вдруг услышал странный стук. Машина, за руль которой я держался двумя руками, взмыла ввысь, и в это время произошёл взрыв. Меня выбросило из кабины. Приземлившись за кадиллаком, я увидел, как узбекский моджахед, крикнув «Аллаху-акбар!», пустил последнюю пулю в себя.

В это время в небе у меня над головой появились военные вертолёты. Солдаты, окружившие меня, приставили дула своих автоматов к моей голове. Закрыв глаза, я ждал смерти. Как ни странно, я был спокоен… Это ли смерть? Она же совсем не страшна… Почему я так сильно боялся её? Видимо, я переступил черту страха смерти. Попытался перед смертью представить лицо матери, но не смог. Закрыл глаза и начал вспоминать её – но сколько ни старался, вспомнить её лицо не смог. У меня не было ни одного трогательного воспоминания. Перед глазами появлялись лишь лица убитых мной людей. Волосы встали дыбом. Открыв глаза, я взглянул на американских солдат. Они тоже смотрели на меня. Эти лица, которые я видел перед смертью, показались мне очень уродливыми. Мне стало смешно и я долго хохотал. Внезапно разболелась нога, в которую попала пуля. Я попытался обернуться и взглянуть на ногу, но один из солдат ударил меня. Я понял, что двигаться нельзя – они ждут приказа касательно меня. Приказ не заставил себя долго ждать. Младший сержант, сказав по рации «Yes!», схватил меня за руку и поднял, затем, наклонив мою голову, поволок к военной машине, стоящей возле солдатской будки.

В это время над нашей головой появились сотни диких гусей. Эти розовые гуси, перекрикивая друг друга, летели очень низко, чуть ли не задевая крыльями напуганных американских солдат. До этого я ни разу не видел стаю диких гусей в такой близости. Гуси были большими и сильными, свободными и гордыми. Они чувствовали себя настоящими хозяевами неба и земли. Они затмили крыльями солнце, и вокруг воцарилась темнота. Вертолёты не могли лететь в такой темноте. Дикие крики гусей не на шутку напугали американских солдат. Позабыв обо мне, они спрятались под военными машинами. Гуси скрылись так же внезапно, как и появились. После их ухода на земле осталось множество розовых гусиных перьев. Я подобрал одно перо, поднёс к носу и понюхал. От перьев пахло небом. А от неба, как оказалось, веяло келагаем[1] моей бабушки. Солдат подтолкнул меня к машине, и я уселся в неё, читая молитву за упокой узбекского моджахеда. В этой военной машине солдаты привезли меня в американскую тюрьму, считавшуюся живой легендой военной истории Афганистана. Афганцы иронично называли её «пятизвёздочным отелем». Моджахед, попавший в эту тюрьму, в лучшем случае выходил на свободу инвалидом. Они привели меня в общую камеру и заперли дверь. Боль в ноге усиливалась. Хромая, я отошёл в сторону, сел и подняв брючину, начал рассматривать рану. Пуля попала чуть выше щиколотки и застряла в ноге. Я обратился к сокамерникам:

– Нет ли среди вас врача?

Ответа не последовало. Я знал, что афганцы недолюбливают нас. Теперь мне предстояло пережить эту реальность, истекая кровью. Оторвал рукав рубашки и перевязал рану. Чуть выше раны затянул ногу ремнём, чтобы остановить кровотечение.

[1] Келагай – шёлковый женский головной убор.

Мне нужна была операция, чтобы извлечь пулю из ноги. Вряд ли кто-то в таком состоянии прооперировал бы меня. Я слышал, что заключённые в этой тюрьме подвергаются жестоким пыткам. Мне нельзя было показывать слабину. Боль я чувствовал и в груди. Вероятно, взрывной волной мне поломало рёбра – или же я ушибся, когда падал на землю.

Опустив голову, я начал успокаивать себя. Чему быть – того не миновать... Мне предстояло прожить в этой реальности, как минимум,ближайшие несколько лет.

Моя связь с узбекским моджахедом и полученная рана были знаком того, что отсюда я выйду уже мёртвым. Хотя сила воли требовала от меня непременно выжить. В первую очередь в этой тюрьме мне нужно было найти сговорчивого человека, чтобы изучить здешние внутренние правила и приспособиться к ним. Я знал, что найти друзей среди заключённых будет непросто. Они недолюбливали нас, как и американцев – возможно, ещё сильнее. Найти общий язык с надзирателями было тем более невозможно. Они обвиняли меня в смерти трёх солдат. Будь у меня под рукой некоторые детали, то я непременно изготовил бы маленькую бомбу и разнёс бы эту тюрьму к чёртовой матери. Но у меня не было и этой возможности. Значит, положение безвыходное. Мне остаётся только терпеть и уповать на Аллаха. Я прислонился к стене и осмотрелся. В тесной, душной камере всего с одной форточкой сидело около тридцати человек. Царила гробовая тишина. Заключённые, прячущие глаза друг от друга, были похожи на набитые соломой чучела. Кажется, им даже не было душно. Внезапно из угла камеры послышался тихий плач. Собрав волю в кулак, я во весь голос крикнул на арабском языке:

– Мать вашу, сукины дети! Отзовитесь же кто-нибудь!

Мои сокамерники продолжали молчать. Опираясь спиной о стену, я кое-как встал и, медленно передвигаясь, подошёл к ближайшему афганскому сельчанину и схватил его за рубашку. Оттолкнув мою руку, афганец злобно взглянул на меня и спросил на дарийском диалекте:

– Тебе-то что нужно?

– Почему не разговариваешь со мной? – гневно спросил я.

Афганец уставился на меня, как баран на новые ворота:

– Не утруждай себя, – ответил он. – С тех пор, как при допросе мне в ухо сунули электрический кабель, я ничего не слышу…

И только теперь мне стало понятно, почему сокамерники не слышат меня.

В это время дверь камеры открылась и в камеру пинками втолкнули очередного пленника. Тучный надзиратель, вошедший в камеру вслед за избитым пленником, подошёл ко мне и сказал на английском:

– Я лично буду принимать у тебя роды этой ночью, готовься! – затем, потушив свою дымящуюся папиросу о мою кровоточащую рану, внимательно взглянул на меня. У меня от боли содрогнулось всё тело, но я не издал ни звука.

– Те, кто может выносить боль, нравятся мне ещё больше! – смеясь, буркнул толстяк и, подняв ногу, пнул меня резиновым сапогом в лицо. Я ударился головой о стену и потерял сознание. Когда я пришёл в себя, тучного надзирателя уже не было. А у изголовья сидел новый пленник, которого только что заточили в камеру. Он очень обрадовался, увидев, что я пришёл в себя. Я видел сокамерников словно сквозь паутину. Новый пленник, которого я тоже видел сквозь белый туман, сунул руку в карман, вытащил щепотку белого порошка и, не спрашивая моего согласия, втёр его мне в десну, затем шёпотом представился:

– Я – Эдвард Мильтон, корреспондент английского журнала «Свободная воля».

– А я – Че Гевара, – ответил я.

Этот пленник, представившийся английским журналистом, на первый взгляд показался мне доносчиком. Скорее всего, его заточили сюда, чтобы собрать информацию обо мне. Но англичанин оказался сообразительным – услышав, что я назвал себя Че Геварой, и осознав мои сомнения, он сказал:

– Ты имеешь все основания не доверять мне. Во всяком случае, это мы вторглись на ваши земли с оружием в руках.

Затем он отвернулся к стене и замолчал. Я тоже больше не промолвил ни слова. Однако я решил, что у нового пленника можно узнать о внутренних законах этой тюрьмы. Он наверняка знает эти места. Белый порошок, который этот пленник втёр мне в десну, каким-то образом ослабил боль в моей ноге. Немного спустя я полностью пришёл в себя. В душе появилась некая уверенность и, прикоснувшись к плечу англичанина, я спросил:

– А ты что, приехал в Афганистан писать стихи?

Он не спал и сразу же ответил на мой вопрос:

– Сюда отправляются два типа людей: такие идеологически обманутые идиоты, как ты, и ещё бóльшие идиоты, как я, пытающиеся объяснить этим идиотам их идиотизм. Ты можешь годами сидеть и думать, но тебе и в голову не придёт, что в мире всё ещё существуют люди, которые пытаются сказать правду – и я один из таких людей!

Англичанин говорил, как радио, и мне было очень сложно уловить суть его слов.

– И ты хочешь сказать, что вы не рушите эти места? – спросил я у него.

– В Афганистане никто ничего не рушит, – ответил англичанин, – и никто ничего не строит. Ни у кого из сражающихся тут бойцов нет ни мыслей, ни суждений, и никогда не будет. Все те, кто называет себя набожными, руководители этой американской тюрьмы, афганцы, туркмены, и даже те, кто, якобы, приносят сюда мир и покой, на самом деле, даже неведомо для себя, финансируются из одного центра. Цель – не твоя религия. Что ты можешь предпринять против них? Кто ты такой, чтобы махать посохом на страны, владеющие ядерным оружием?! Молись хоть до потери пульса... Уповай на Аллаха, сколько влезет... Цель – управлять миром, держать тебя в напряжении, не позволять тебе думать. Война – это мракобесие. Вы, афганцы, воюете на протяжении долгих лет. О каком развитии тут может идти речь?

Я хоть и не совсем понимал его слова, но как только он начал говорить, я удостоверился в том, что он не доносчик. Он был похож на человека с убеждениями, и не мог быть ни лгуном, ни доносчиком. Я протянул к нему раскрытую ладонь:

– Насыпь сюда немного того белого порошка, – сказал я.

Англичанин улыбнулся:

– Но ведь твоя религия запрещает это?! – промолвил он, затем вытащил из кармана маленький пакет с белым порошком и вновь втёр порошок в мои дёсны.

Я успокоился, закрыл глаза – даже ненадолго задремал. Открыв глаза, я вновь увидел у изголовья тучного надзирателя. Его беспечность на этот раз разозлила меня. На лице у этого толстяка, привыкшего унижать безоружных заключённых, был запечатлён страх. Я взглянул на его жирный второй подбородок и улыбнулся. Увидев мою непонятную улыбку, надзиратель опешил. Опираясь о стену, я привстал. Неожиданно поднял сжатый кулак и крикнул надзирателю:

– Ложись!

Он со страху сразу упал на пол камеры, схватившись дрожащими руками за голову. Я набросился на него сзади и вынул из кобуры пистолет. И только когда я вынимал пистолет, надзиратель понял, что я надул его – никакой гранаты в моей руке не было. Но несмотря на это он всё же не решался подняться с пола и робко глядел на пистолет в моей руке. Я вытащил из пистолета магазин, вынул из него пули и, глядя прямо в глаза толстяка, выкинул их в форточку. Затем схватил его за руку и поднял. Вернул ему пистолет, похлопал его по спине и сказал на английском:

– Смерть – это наша игра! Не вздумай играть с нами в такие игры!

Ничего не ответив, тучный надзиратель опустил голову и вышел из камеры, не скрывая страха на лице. Как ни странно, этой ночью я спал очень спокойно. Утром проснулся от крика английского журналиста. Журналист орал, стоя над головой у афганского заключённого, приведённого в камеру после допроса. Следователи вырвали у афганца ногти, а рот прошили толстой нитью, как стеганый матрас. Из уха у него текла кровь. Английский журналист назвал изуродовавших афганца следователей фашистами и вдруг замолчал. Наверняка он посчитал, что данное оскорбление подействует на следователей, и они больше не позволят себе ничего подобного.

Мильтон был сложным и одновременно душевным человеком. Поэтому, разбираясь в сложном мире, он не разбирался в человеческой душе. Сидя в стороне, он что-то писал своей чёрной ручкой. У меня сильно опухла нога. Скорее всего, гноилась рана. К тому же я очень проголодался, и у меня сильно болела голова. Как только открылась дверь камеры, Мильтон прижался ко мне. Новый надзиратель камеры, открывший дверь, направился прямо ко мне и промолвил вежливым голосом, столь непривычным для этой тюрьмы:

– Вас хочет видеть начальник тюрьмы!

Хромая, с его помощью я направился к выходу. Мильтон проводил меня до дверей и сказал:

– Ни в чём не признавайся, будь сдержанным. Им ещё нужно доказать тебе твою вину!

Войдя в кабинет начальника тюрьмы, я не поверил своим глазам. Начальник тюрьмы сидел напротив Эмира Тарика, и они играли в нарды. Увидев меня, Эмир Тарик, не вставая с места, промолвил:

– Чему быть, того не миновать, Джафар!

Начальник тюрьмы взглянул на мою воняющую от нагноения ногу и поморщился. Я внятно услышал, как он шёпотом спросил у Эмира Тарика:

– Неужели он нужен тебе даже с такой ногой?

Завершив игру, Эмир Тарик встал и, положив на стол начальника тюрьмы небольшой свёрток, спросил:

– Могу ли я забрать то, что принадлежит мне?

Начальник тюрьмы, утвердительно кивнув, взглянул на свёрток и спросил:

– Надеюсь, там согласованная нами сумма?

Ничего не ответив, Эмир Тарик подошёл ко мне и, спокойно схватив меня за руку, промолвил:

– У нас слово говорится один раз. А указанного вами человека убьёт он сам, даже не сомневайтесь!

С помощью Эмира Тарика я вышел из кабинета начальника тюрьмы и, кое-как пройдя через коридор, вышел к воротам американской тюрьмы. Сел в машину, ожидающую нас возле ворот, и потерял сознание.

Открыл я глаза в небольшой больнице нашей военной базы в Кандагаре. Я не помнил, сколько дней пролежал здесь. Я лежал один в пустой палате, укрытый белой простынёй. У меня потрескались губы, во рту опух язык. Первое, о чём я вспомнил, была раненая нога. Робко засунул руку под простыню и нащупал ногу. Нога была на месте. Пальцев я не чувствовал. Резко откинул простыню и взглянул на пальцы. Они тоже были на месте, их тоже не отрезали. Мне стало странно, что человек, годами готовящийся к смерти, так переживает за свои пальцы. Видимо, тело всё ещё хотело жить. Встать у меня не было сил. Посмотрел в сторону окна, на котором не было занавески, – на небе светила луна. Её свет тускнел, и я понял, что скоро утро. Меня мучила жажда – повернувшись к двери, я громко крикнул. Ответа не последовало. В больнице никого не было.

Люди, участвующие в священном сражении, не болеют. У этих людей есть два лица – они либо живые, либо мёртвые. Раненых здесь не любят. Поэтому больницы «Лешкери-Имам» пустуют, в них никого не бывает. В этих лагерях не бывает и врачей. Мне нужно было встать, чтобы утолить жажду, но ноги не слушались. Видимо, придётся ползти. Собрав волю в кулак, я оттолкнулся от стены и попытался слезть с кровати на пол. После нескольких попыток я слез с кровати и с грохотом свалился на пол. Теперь надо было ползти. Я пополз к выходу. Мне повезло, что дверь была приоткрыта. Открывалась она непосредственно во двор лагеря. Я выполз во двор и вдохнул свежий воздух.

Наступало утро. На горизонте начинали появляться отблески солнца. На небе блестела луна, готовящаяся сдать свой пост солнцу. Внезапно мир показался мне неимоверно красивым. До сих пор я ни разу не поднимал голову и не глядел на небо. Оказывается, небо сияло необычайным светом. Я подумал, что непременно умру – ведь подобные неземные мысли были чужды мне. С трудом я поднялся и прислонился к приоткрытой двери. Моджахеды спали. Вокруг не было видно никого, кроме вооружённого караула, несущего службу на расположенной вдали башне. Свет в комнате имама был выключен. Приставив руку ко рту, я громко крикнул:

– Имам, я здесь!

Никто не отозвался. На свежем воздухе я позабыл даже о жажде – уселся возле дверей и начал ждать восхода солнца. Я осознал, что красота солнца кроется лишь в его восходе, так же как и красота рождающегося человека. Поднявшись высоко, солнце становится жгучим и надоедливым – так же, как и человек, с возрастом теряющий былое обаяние и облик.

Эмир Тарик появился во время полуденного намаза. С ним был прооперировавший меня врач. Повторно обследовав мою ногу, врач сказал:

– Требуется ещё месяц на восстановление.

Выслушав врача, Эмир Тарик взглянул на меня. По этому взгляду я прочёл его мысли. Эмир Тарик проводил врача и, вскоре вернувшись, промолвил:

– Тебе нужно ехать через два дня!

– Я готов! – уверенно сказал я, позабыв о боли в ноге.

Эмир Тарик обнял меня и поцеловал в лоб:

– Я всегда верил в тебя, – сказал он. – У тебя внутри ничего нет, но словно всё же что-то есть. Я не понимаю, что это, но это нечто связывает нас!

Я не знал, куда меня отправят на этот раз. Честно говоря, и знать не хотел. Мне было всё равно, куда ехать. Меня интересовала только смерть. Своими действиями я ежедневно приближался к смерти. Несмотря на колебания, возникшие в моём созна-

нии после тюрьмы, мне хотелось избавиться от этой реальности раз и навсегда. Эмиру Тарику удалось с лёгкостью прийти в тюрьму и освободить меня, что никак не вязалось с его миссией – сражением против богохульников. Ведь Эмир Тарик был врагом американцев. А с врагами, насколько мне известно, в кошки-мышки не играют. С врагами сражаются. Кажется, Мильтон был прав. Слова Эмира Тарика не совпадали с его действиями. Однако меня эти детали практически не волновали. К тому же, Эмир Тарик освободил из тюрьмы меня, а не кого-либо другого. Война – это своего рода торговля. Я не вмешиваюсь в их дела и в их войну. Я воюю с самим собой.

Рано утром мы с Эмиром Тариком сели в машину и выехали в город. Сначала зашли в одно из летних кафе Кандагара и позавтракали. Кажется, Эмир Тарик хотел что-то сказать, но долго не решался. Наконец, во время чаепития, он промолвил:

– Завтра мы отправляем тебя в Турцию. Задание получишь на месте. Я женил тебя фиктивным браком. Задание ты будешь выполнять вместе со своей фиктивной женой. Она тоже повидала немало крови. В Турции у тебя будет уйма дел. Но перед этим у меня к тебе поручение, – сказал он и, вытащив из кармана фотографию, бросил на стол и спросил: – Знаешь этого человека?

Я взглянул на фотографию – это был английский журналист Эдвард Мильтон.

– А его-то зачем убивать? – спросил я. – Он не сражается против нас и не является врагом Аллаха…

Эмир Тарик покраснел от злости и выдавил сквозь дрожащие губы:

– Раньше ты ничего не спрашивал у меня. Но раз спрашиваешь, скажу тебе правду: ты убиваешь его ради себя. Мне удалось освободить тебя из тюрьмы только для того, чтобы ты убил его. Своей писаниной он сводит американцев с ума. Если они сами прикончат этого журналиста, то будет много шума. А для тебя это – раз плюнуть, так как ты – один из тысяч мусульман, готовых умереть в любой момент. Теперь ты понял эту игру? – крикнул он.

Я понял, что впору задать вопрос, мучавший меня с момента освобождения.

– А что вас связывает с американцами? – спросил я.

Ничего не ответив, Эмир Тарик вынул из-за пояса пистолет и приставил к моему лбу.

– Прикончи этого Дьявола! – крикнул он, глядя мне в глаза. Затем, взяв себя в руки, бросил пистолет на стол и ушёл. Я взял пистолет и сунул за пояс.

Той же ночью я расстрелял из этого пистолета торжественно освобождённого из тюрьмы журналиста Эдварда Мильтона в его съёмной квартире. Бедолага Мильтон беспечно улыбался, не веря до последнего момента, что я буду убивать его. Он изо всех сил пытался доказать мне, что я попусту жертвую своей жизнью ради какой-то глупой игры.

Через два дня я вместе со своей фиктивной женой-моджахедкой сидел на стамбульской площади Султан Ахмед и с аппетитом уплетал донер-кебаб, окончательно позабыв о том, что когда-то на этом свете жил английский журналист по имени Эдвард Мильтон. Мою напарницу, ставшую моей фиктивной женой, звали Амина. Это была весёлая, высокорослая и очень красивая женщина. Ещё во время нашего знакомства в Афганистане она обняла меня и прижала к груди:

– Наконец и мне посчастливилось найти идиота, который женился на мне! – сказала она.

Мне была очень приятна её искренность, и я даже обрадовался, что буду вместе с ней «до самой смерти».

В ночь, когда мы впервые очутились вдвоём наедине в стамбульском отеле, Амина взглянула на меня горящими глазами и промолвила:

– Хотя бы перед тем, как нас убьют, давай поцелуемся разок. Я никогда ещё не целовалась с мужчиной, – и шёпотом добавила: – Если не поцелуешься со мной, то я взорву нас обоих!

Больше чем её слова меня насмешила её поза – она села передо мной на колени и округлила протянутые губы. Я молча обнял её, и мы поцеловались в губы. Через несколько минут Амина с трудом оторвала губы от моих губ и, еле дыша, плюнула на пол.

– И вот эту гадость богохульники называют сексом? – смеясь, спросила она.

Я прикоснулся к её круглым ягодицам.

– Нет, нельзя! – крикнула она, оттолкнув мою руку, – Я поклялась Аллахом!

Слово «поклялась» Амина произнесла так строго и резко, что я не решился предложить ей что-либо другое. Мы до утра спали на отдельных кроватях – точнее, не спали, а просто лежали.

Наступил второй день нашего «брака». Согласно инструкции, этим утром нам предстояло официально зарегистрироваться в Стамбуле, затем сидеть на площади Султана Ахмеда как «пара голубков» и ждать связного, который должен был передать нам задание.

Дьявольские искры в глазах Амины взбудораживали меня. Она была жестокой моджахедкой, но прежде всего она была женщиной. Я знал, что Амина – убеждённая моджахедка, способная в нужное время взорвать себя и увести с собой на тот свет несколько людей. Однако она, как женщина, умела также наслаждаться моими возбуждёнными взглядами. Наш брак был фиктивным, но мы с Аминой могли считаться семьёй. Мне ещё не приходилось жить в полноценной семье. Амина была первой женщиной, с которой я прожил два дня подряд. За эти два дня я успел привыкнуть к ней и впредь не хотел с ней расставаться.

Люди на площади Султана Ахмеда были свободны, беспечны. Они спокойно сидели на скамейках, дышали свежим воздухом и никуда не торопились. Стало быть, так тоже можно жить – впервые за свою жизнь я видел перед собой обычных людей, которые сидели молча, ни о чём не думали, ничего не боялись и не ожидали смерти. Они просто жили. Им не хотелось ни спасать кого-то, ни присваивать чьё-то добро. У них не было даже врагов. Они умели радоваться жизни, свежему воздуху, обычным взглядам, глотку воды. Они не сражались. Не знали, что такое смерть. Им даже в голову не могло прийти, что супружеская пара, сидящая напротив них, – смертники, способные в любой момент по чьему-то приказу лишить их жизни. В то время, как я ни старался, не смог найти более подходящего для нас с Аминой названия. Мы были «смертниками», над которыми постоянно витала смерть.

Мы сидели на скамейке и спокойно ждали человека, который должен был передать нам точную дату и время смерти. Я держал Амину за руку. У нас над головой летали белоснежные чайки. Со стороны Амина тоже могла выглядеть как счастливая чайка. Её руки, зажатые в моих ладонях, были такими же белоснежными, как эти чайки над нами. Один немецкий турист даже сфотографировал её. Когда Амина, улыбаясь, поблагодарила его на немецком языке, выяснилось, что этот немецкий турист и есть наш стамбульский связной. По его поручению этой ночью нам предстояло взорвать ночной клуб в стамбульском районе Этиляр.

Когда вечером мы направлялись на машине к нашей съёмной квартире, Амина положила голову мне на плечо и всплакнула. Я даже не спросил о причине её грусти

– это было нормальное предсмертное состояние. Амина должна была пойти на задание со взрывчаткой в поясе. Этой ночью могло случиться всё, что угодно. Она успокоилась так же быстро, как и взгрустнула, и объяснила мне на арабском языке – чтобы водитель не понял – для чего нужно взорвать клуб «Элит», расположенный в Этиляр:

– Этот взрыв – своеобразное предупреждение Турции, которая боится присоединиться к афганскому сражению. Турция, отказывающаяся помогать этническим тюркам – афганским узбекам, устрашена террором. Турция должна быть вовлечена в сражение, чтобы её экономика рухнула, чтобы в стране царили хаос и беззаконие. В таком случае нам, моджахедам, будет гораздо легче войти через сирийские ворота в Турцию с оружием в руках. Турция будет ослаблена. Массовое убийство элитных звёзд и представителей прессы, собравшихся в клубе, должно потрясти правительство Турции. Мы будем устраивать взрывы до тех пор, пока они не войдут в Афганистан.

Я принялся готовить взрывчатку. Мне предстояло изготовить три бомбы. Время поджимало, но я не торопился. Малейшая ошибка в этом деле была смертельно опасна. Я изготовил первую порцию взрывчатки и привязал к поясу Амины. Остальные две порции мне предстояло пронести в клуб самому. Если бы мне не удалось взорвать бомбы дистанционно, то Амина должна была запустить свою взрывчатку вручную.

Завершив работу, я наблюдал, как Амина готовится к смертной ночи. Как и все женщины, торопящиеся куда-то, Амина была чересчур медлительна. Сначала она потеряла брошку и нашла её с огромным трудом. Начав расчёсываться, вспомнила, что не накрасила губы. Пока красила губы, потеряла расчёску. Мне никак не верилось, что Амина, старающаяся выглядеть красивой, как все женщины, готовится к смерти. Это была обычная женщина, прихорашивающаяся перед зеркалом. Разница была лишь в том, что Амина была сильной женщиной, которая, прихорашиваясь, готовилась не на вечеринку, а к смерти. Теперь она была ещё красивее, чем раньше.

Спускаясь по лестнице, я поцеловал Амину в её прелестный лобик и внезапно осознал, что этой ночью я могу навсегда потерять её.

В клуб «Элит» в Этиляр Амина прошла без особого труда и уселась в первом ряду. Охрана клуба пропустила её в помещение, даже не проверив документы. Полицейские, дежурившие внутри, онемели перед красотой Амины и не спросили ни слова, лишь страстно пожирая её глазами. А я представился полиции возле клуба оператором телеканала «Узбек ньюс». Участие этого телеканала в данном мероприятии было согласовано заранее. Регистрация телеканала была внесена в протокол. Поэтому меня тоже особо не расспрашивали. Я зарегистрировался и подписал документ, подтверждающий мой приход и участие. Одна из бомб находилась внутри камеры, которую я держал в руке. А вторая была спрятана в сумке, висящей у меня на шее.

Войдя в зал, я положил сумку со взрывчаткой под компьютерный стол, предоставленный журналистам, и, закрепив камеру на штативе возле сцены, сел в кресло. Основную часть работы я уже выполнил.

Я обернулся и взглянул на Амину. Она была божественна – закинув ногу на ногу, продолжала раззадоривать меня. В это время мне на телефон пришло сообщение. Я открыл, прочёл. Амина спрашивала: «Ну, как тебе мои ножки, нравятся?» Я улыбнулся и взглянул на неё. Она «ласкала» меня своими взглядами. Работать совместно с Аминой было одно удовольствие. Даже в самые трудные моменты она сохраняла свою женственность и красоту, тем самым придавая мне силы. Даже «шестикилограммовая смерть» на её поясе не смогла сломить её.

Я вытащил зажигалку и подержал её в руке так, чтобы охрана видела. Затем вытащил и сигарету, якобы, собираясь закурить. Как и ожидалось, охрана подошла ко мне и попросила курить во дворе. Попросив прощения, я вышел из помещения, чтобы «покурить». В первую очередь мне нужно было найти укромное местечко, чтобы запустить взрывчатку, а затем дождаться сообщения на телефон. Я ждал приказа, чтобы нажать на кнопку.

Место для укрытия я нашёл быстро. В клубе «Элит» были огромные стеклянные стены, через которые было отчётливо видно всё помещение. А на улице напротив стояло старое строение времён Османской империи, освещаемое ярким светом клуба. Дверь этого старого здания не была закодирована, а окна коридора были выбиты. Я мог притаиться там и запустить взрывчатку на расстоянии. Всё шло как по маслу.

Приказ пришёл на мой телефон даже раньше ожидаемого времени. Его отправил немецкий связной – просил меня подойти к белому автомобилю марки «Фиат», который стоял на улице параллельно клубу «Элит». Инструкцию мне должны были дать в машине. Дабы не вызывать подозрение, я медленными шагами подошёл к «Фиату». За рулём сидел темнокожий мужчина. Я сел на заднее сидение.

– Отдай мне пульт! Всё остальное сделает сама Амина! – сказал темнокожий.

Я протянул ему пульт, он взял и нажал на кнопку. Две бомбы взорвались одновременно. Волной взрыва разнесло вдребезги даже стёкла витрин в лавке на параллельной улице. Темнокожий обернулся назад и спросил у меня:

– Оружие есть?

– Нет, – ответил я и взглянул в окно.

Ночную тишину нарушили вопли людей, выбегающих из горящего клуба через узкую дверь. Человеческие крики, скрип колёс, скользящих на мокром асфальте, сирены машин скорой помощи, предупредительные выстрелы полицейских в воздух создавали ужасающий шум вокруг. Здание клуба «Элит» пылало страшным пламенем.

Внезапно раздался третий взрыв. Услышав этот взрыв, темнокожий выругался и завёл двигатель. Мы пытались удалиться с этой территории как можно скорее, но нам это не удавалось из-за создавшейся пробки. Темнокожий остановил машину в первом же тёмном тупике. Я в последний раз оглянулся на клуб «Элит», надеясь увидеть Амину. Третья порция взрывчатки не должна была запускаться – почему Амина взорвала себя? Ничего, кроме пылающего здания, не было видно.

Неожиданно темнокожий выстрелил в меня из пистолета с глушителем. Выпустив в меня всю обойму, он бросил пистолет на меня и резко выскочил из машины. Я ничего не видел, но по запаху понял, что машина облита бензином. Темнокожий бросил на машину горящую спичку и убежал, и я тут же выскочил из машины через заднюю дверь. Это было невероятно – ни одна из пуль меня не задела. В тот момент это показалось мне настоящей сказкой.

Темнокожий не стал бы убивать меня по собственной инициативе. Интересно, кто дал ему такой приказ? Кому и для чего нужна была моя смерть? Мне нужно было жить, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Из-за организованного мной взрыва мне ни в коем случае нельзя было попасть в руки стамбульской полиции. Я был уверен, что моя фотография уже была роздана всем полицейским. Среди вошедших в клуб во время взрыва отсутствовал только я. Амина взорвала себя. Скорее всего, её пояс со взрывчаткой уже исследовали. Камеры наблюдения, вероятнее всего, сняли также наши с Аминой взгляды перед взрывом. Во время следствия кадры, где были запечатлены мы с Аминой, тоже будут использованы против меня. Доказательством слу-

жило также сообщение, отправленное Аминой мне на телефон. Словом, вероятнее всего, я был объявлен в розыск.

Я не знал, где нахожусь и куда мне идти. Наконец я прошёл через тёмные тупики и вышел на широкую и сравнительно тихую улицу. Некоторое время я быстро шёл по тротуару, не зная, куда держу путь. Документы у меня были, хоть и фальшивые... А в кармане были деньги. Покинуть страну я не мог, но на некоторое время мог приютиться в одном из маленьких городков Турции.

Я зашёл в первый попавшийся ресторан и заказал «Искендер-кебаб». У мужчины средних лет, сидящего за соседним столиком, спросил название турецкого города, который я, якобы, хотел посетить как турист. Турки – народ упрямый; мой собеседник, не задумываясь ни на секунду, ответил:

– Лично для меня самый красивый край Турции – это Каппадокия.

Другие посетители ресторана с ним не согласились:

– А как же Бодрум? – крикнула женщина из глубины салона. – Думай, что говоришь!

Ещё один посетитель начал расхваливать Конью, а другой – Черноморское побережье.

– А как можно добраться до этих мест? – спросил я.

Все в один голос посоветовали мне поехать на автобусе. Поспешно расплатившись за еду, я вышел из ресторана. Решил на некоторое время остаться в Стамбуле, так как в автобусах могли проводиться проверки. Думая о том, где и как мне спрятаться, сел в такси и прибыл на площадь Султана Ахмеда – единственное место, знакомое мне в Стамбуле. Эта площадь, уже превратившаяся в мою память, была безлюдной, но освещённой. Сел на скамейку, на которой я утром сидел вместе с Аминой, и закрыл глаза.

Сидел я долго. Я и сейчас не знаю, что такое любовь, но в то время я вообще не имел понятия об этом чувстве. Однако в ту ночь на площади Султана Ахмеда я неожиданно осознал, что сильно скучаю по Амине. Её отсутствие терзало мою душу. Впервые в жизни я мечтал о том, чтобы кто-то воскрес и прожил всю свою жизнь вместе со мной. Амина поменяла суть смерти в моих глазах. Она свела святость смерти на нет.

Второе чудо после того, как меня не ранила ни одна из выпущенных в меня пуль, я пережил на площади Султана Ахмеда. Словно кто-то коснулся моего плеча и приказал встать. Я прекрасно знал, что у меня за спиной никого нет, но всё же встал и посмотрел в сторону входа на площадь.

И в это время произошло второе чудо. Издали ко мне бежала Амина…

У меня от волнения застыли ноги. Я замер на месте. Прослезился даже мой слепой глаз.

Амина подбежала ко мне, крепко обняла и, обжигая мне ухо своим горячим дыханием, шепнула:

– Никуда ты от меня не денешься!

Я расплакался навзрыд. Амина пришла в себя первой. Посидев на скамье на площади ещё немного, дабы не вызвать подозрения, мы вошли в мечеть Султана Ахмеда. Мечеть была безлюдна. Только пожилой мужчина недалеко от кафедры подметал ковры. Мы разулись и сели у входа в мечеть лицом к Мекке. Я закрыл глаз, и начал шёпотом читать «Аятуль-курси»[1].

[1] Аятуль-курси – 255-й аят суры Ал-Бакара священного Корана, в которой говорится о могуществе и абсолютной власти Аллаха над творениями.

Внезапно при повторении молитвы перед моими глазами предстала моя мать. Она истекала кровью и, протянув руки ко мне, молила о помощи. «Что с тобой, мамочка, что у тебя болит?» – спрашивал я у неё. «У меня болит память!» – отвечала она мне. Я прослезился. Память болела и у меня самого. «Интересно, смогу ли я когда-нибудь избавиться от своей памяти?» – задавался я вопросом. Долго ли я плакал, долго ли сидел в таком положении – этого я не знал. Я ощутил только то, что выплеск всей боли, накопившейся во мне с момента рождения, вместе со слезами, принёс мне неимоверное облегчение. Открыв глаз, я увидел перед собой светлое личико Амины – она сидела передо мной и гладила моё плечо.

– Это Эмир Тарик приказал убрать тебя, – сказала Амина. – Англичане тоже ищут тебя. Эмир Тарик опасался, что если англичане поймают тебя и начнут допрашивать, то ты проговоришься о том, что поручение убить Мильтона получил от него. Именно поэтому он хотел вывести тебя из игры. Это я знала ещё до прибытия в Стамбул. В последний момент, ещё в клубе, я осознала, что не хочу терять тебя. Мне было поручено оставить в клубе твои отпечатки и документы, чтобы все обвинения пали на тебя. Я нарочно запустила и третью бомбу, чтобы они сочли мёртвой и меня. Это я зарядила пистолет араба холостыми пулями. Знаешь, почему? Потому что я полюбила тебя. Влюбилась в тебя с первого взгляда. Видимо, это возможно. К тому же, ты – единственный мужчина, с которым я целовалась за всю свою жизнь. И вот, доигралась – от твоего поцелуя я забеременела. Теперь ты обязан жениться на мне!

Амина продолжала шутить. Я стоял, как истукан, не зная, что ей ответить. Она подарила мне жизнь не только спасением меня, но и своей любовью ко мне. Значит, любовь может победить смерть – любовь бессмертна… Амина вытащила меня из пасти смерти. Умерев, я принадлежал бы Аллаху. Но я был жив и принадлежал ей. Значит, любовь сильнее и смерти, и Аллаха – твоя любовь принадлежит тебе и только тебе. Амина пробудила меня от тысячелетнего сна. Теперь мне предстояло подарить жизнь этой женщине, сидящей передо мной и принадлежащей мне, предстояло заботиться о ней. Она противостояла всему своему окружению, чтобы спасти меня, перечеркнув всё произошедшее в прошлом. Отныне я не имел права умирать, оставив её одну на этой бренной земле. Мнимая смерть, выдуманная ею, спасла меня от реальной смерти. Значит, любовь способна даже изменить время, смысл и название смерти. Следовательно, любовь способна противостоять смерти. Воистину, я умер для Эмира Тарика и воскрес ради Амины. Амина была моим раем на земле. Своей любовью она привязала меня к жизни. Впервые в жизни мир казался мне привлекательнее смерти.

Мне послышались шаги, и я понял, что кто-то подходит к нам. Я оглянулся. Старик, подметающий ковры, подошёл к нам и учтиво уселся рядом. Видимо, он был растроган моими слезами. Это был седой светлоликий мужчина. Было видно, что это бескорыстный, набожный человек, и наши слёзы он принял за привязанность к Аллаху. Усевшись поудобнее, старик промолвил:

– Да вознаградит вас Аллах за вашу веру! Я тоже каждый вечер прихожу сюда и плачу!

Я молчал.

– Отец, не могли бы вы обвенчать нас? – спросила Амина.

Старик долго молчал. Затем, улыбнувшись, встал:

– Я вас понял! Следуйте за мной! – сказал он и направился к выходу. Мы встали и последовали за ним – всё равно идти нам было некуда. Вышли из мечети Султана Ахмеда и, немного пройдя пешком, сели в его машину. По дороге мы узнали, что этот

старик, которого мы приняли за уборщика мечети, на самом деле является одним из богатейших людей Стамбула. Он владел отелями и имениями, был настоящим миллионером. А подметал он каждый вечер мечеть только по зову души, считая это своеобразной службой людям в знак благодарности Аллаху за вверенные ему богатства. По его мнению, Аллах изначально живет в человеческой душе. Люди сегодня перегрызают друг другу глотки ради лучшей жизни, стремясь к господству. Добиваясь чего-либо таким образом, они уничтожают Аллаха в своих душах. В мире надо жить так, чтобы внутренний уклад человека не нарушался. Человек должен получать удовольствие от самого себя. Если внутренний уклад нарушен, то человек позабудет Аллаха, а Аллах в ответ позабудет о нём. Человек окончательно лишится покоя и превратится в раба собственного заработка. Человек будет работать на деньги, а не деньги на него; он будет вынужден горбатиться день и ночь, дабы уберечь заработанное. Человек станет рабом не Аллаха, а денег.

Слушая слова старика, я осознавал, что этот человек – третье чудо, показанное мне Аллахом в эту ночь. Значит, бескорыстные люди в мире ещё остались. Его слова и действия были совершенной противоположностью словам и действиям Эмира Тарика. Всю свою сознательную жизнь я жил понятиями медресе Эмира Тарика, даже не задумываясь о том, что возможно и другое отношение к Аллаху. Старик полностью поменял моё мировоззрение. Оказывается, настоящая вера вселяет в тебя любовь не к смерти, а к жизни; и все эти убийства, совершённые мной до сих пор, нарушали мой внутренний уклад, превращая меня в безбожного негодяя. Человеческое мышление несовершенно. Нельзя предпочитать человеческий ум учениям Аллаха. Уклад и справедливость Аллаха заключаются в спокойной и бескорыстной службе. Путь Аллаха – это любовь; любовь к Аллаху, людям, времени, истории… А я до сих пор любил не любовь, а смерть, убив своих любимых собственными руками. Я искал спасение в смерти, а спасла меня любовь – любовь Амины на земле и любовь Аллаха во Вселенной…

Ближе к утру мы приехали в огромную загородную усадьбу старика. Полусонному слуге, вышедшему встретить его, старик приказал пригласить на полуденную молитву сельского имама, чтобы обвенчать нас. Услышав это, Амина прижалась ко мне и улыбнулась, и старик тут же уловил эту улыбку.

– Улыбка этой девушки – самая высокая моя награда на земле. Теперь ты меня понял? – спросил старик, обращаясь ко мне.

– Понял, – ответил я и взглянул на Амину. Её лицо сияло словно солнышко.

Сельский имам обвенчал нас после полуденной молитвы, как и было согласовано. На завтрашнюю нашу свадьбу старик пригласил всё село. Среди приглашённых был и сельский нотариус. Я опасался, что нотариус, как официальное лицо, может попытаться установить наши личности, и поэтому попросил старика отказаться от идеи столь пышной свадьбы. Старик, негодуя, попросил меня не вмешиваться в его дела.

В ту ночь старик даже запретил нам с Аминой ночевать вместе. «Только после свадьбы!» – сказал он и запер дверь моей комнаты на ключ. Последнюю ночь нашей холостяцкой жизни нам пришлось провести в отдельных комнатах.

Свадебный шатер был разбит на лужайке возле усадьбы. Старик пригласил на нашу свадьбу из города своих богатых друзей. Сначала дервиши прочли духовную молитву, исполнили танцы дервишей, сыграли на свирели и барабанах. Затем сельчане традиционно встали в круг. Старик купил Амине зелёную фату – в ней Амина выглядела как богиня в зелёном одеянии. По сельджукским обычаям жених с невестой на

своей свадьбе не садятся рядом. И мы с Аминой сидели друг напротив друга на отдельных табуретках.

Амина, лицо которой было укрыто зелёной фатой, с сегодняшнего дня становилась моей законной женой. Я старался представить себя в этой ситуации, пытаясь понять, хватит ли у меня терпения, сил и, главное, любви, чтобы уберечь свою семью? Я был уверен в одном – женитьба изменит всю мою жизнь. С сегодняшнего дня я буду жить не по поручениям Эмира Тарика, а с радостью и ответственностью перед семейной жизнью. Отныне я уже не тот избранный для смерти моджахед, который воспитан для гибели смертью мученика. Отныне я – человек, желающий жить. Я знал, что моё окружение будет любить меня не так, как меня любили раньше. Люди любят человека, готовящегося к смерти, как гостя. А человека, желающего жить, они не любят, так как видят в нём соперника, с которым нужно делиться заработанным хлебом. Но мне нужно было работать, чтобы жить. Но где я могу работать? Кто возьмёт меня на работу? Если Эмир Тарик найдёт и убьёт меня, то что станет с Аминой? У меня не было надежды даже на то, что я доживу до завтрашнего дня. Меня могли в любой момент найти и устранить. Меня повсюду искали и англичане, и турецкая полиция. Не ниспошли Аллах мне этого старика, наверняка я сейчас находился бы где-то в тюрьме или же лежал мёртвым в какой-то канаве. Но по воле Аллаха я встретил этого старика – следовательно, Аллах заранее хотел нашей с Аминой женитьбы.

Свадьба закончилась поздно ночью. Рано утром старик уже стоял у дверей и ждал меня. Мы поехали в его пятизвёздочный отель в Стамбуле и позавтракали. За завтраком старик сказал:

– После того, как ты расскажешь мне всю свою историю, я предложу тебе работу!

Я рассказал старику всю свою долгую историю, не упомянув лишь о совершённом мной взрыве в Турции. Старик слушал мою историю и его глаза наполнялись слезами, он то и дело поднимал руки к небу и молился. Пока я рассказывал старику о своей жизни, я и сам успел взглянуть на всё происходящее со стороны. Оказывается, Аллах никогда не забывал меня, не ставил меня в безвыходные ситуации. Моя жизнь висела на волоске, но Аллах берёг меня. Все мои шаги управлялись со стороны, я делал их независимо от себя. Именно благодаря этому я всё ещё жив. Я живу, чтобы раскрыть какую-то божественную тайну. Интересно, что ожидает меня впереди? Кто и для чего бережёт меня? Этими словами я завершил рассказ о своей жизни. Терпеливо выслушав меня, старик помолчал и после долгого раздумья спросил:

– Хватит ли у тебя сил измениться?

– Не знаю, – честно ответил я.

Старик ничего не сказал – встал, прошёлся. Наконец, приняв окончательное решение, взглянул на меня горящими глазами и промолвил:

– Я нарушу свой внутренний уклад, если не дам тебе такой возможности. Что ж, испытай себя – посмотрим, что выйдет…

Радости моей не было предела…

С того дня я начал работать водителем в отеле. Через несколько дней старик оформил на меня один из номеров отеля, где мы с Аминой начали вести семейную жизнь. На своём веку Амина навидалась немало смертей, и теперь она с лёгкостью решала любую сложную задачу. И грамотности ей было не занимать – владела несколькими языками, хорошо разбиралась в компьютере. Однако со дня нашей женитьбы она стала домохозяйкой. Амине было сложно адаптироваться к домашним

делам. Надо признать, что мучилась не она одна – вместе с ней мучился и я. Амина, умеющая разбирать и собирать автомат Калашникова за пятнадцать секунд, никак не могла справиться с соковыжималкой. Накормив меня несколько раз сырой едой, она, наконец, научилась готовить. Гладить одежду научилась только после того, как прожгла несколько рубашек. Затопив отель пару раз, наконец-то научилась протирать полы. Она целыми днями сидела дома, дожидаясь меня, а по вечерам я в полусонном состоянии выводил её гулять по безлюдному городу. Её красота, теплота и искренность были настолько дороги мне, что я не обращал внимания на мелкие неудобства. Мы не только были супругами – мы были необходимы друг другу. Мы пришли из одинакового прошлого. У нас были одинаковые страхи. Нас связывала не только любовь, но и страх. Мы стояли плечом к плечу, чтобы не упасть, как маленькие дети, только научившиеся ходить. Мы радовались малейшей новизне, появившейся в нашей жизни. Мы вышли из смерти и поэтому радовались, даже если ничего в нашей жизни не происходило. Я был накрепко привязан к Амине, но хотел узнать её ещё ближе. Однако она не любила рассказывать о себе. Хотя, смотря какой-то грустный фильм или слушая какую-то лирическую музыку, вспоминала свою жизнь. Отец Амины, как и Эмир Тарик, был узбеком по национальности. Она жила в очень состоятельной семье. Её семья торговала драгоценностями, привозимыми из Индии. Когда ситуация в Афганистане начала усложняться, отец Амины, как и все афганцы, не желавшие смириться с гнётом в родной стране, взялся за оружие и на протяжении многих лет вместе с Эмиром Тариком воевал в группировках генерала Дустума против богохульников. Он был очень смелым, жёстким человеком, умеющим настоять на своём. На всё происходящее у него были собственные взгляды. Во всём Афганистане не было второго такого человека, который мог бы обрести такое множество врагов, как он.

Однажды он повздорил с генералом Дустумом из-за какого-то пустяка и, покинув организацию, начал в одиночку воевать против советских солдат. В одном из боёв он был тяжело ранен и его отвезли в американскую больницу, расположенную в Пакистане. После выздоровления американцы дали ему большое количество оружия и подразделение, состоящее из молодых афганцев. Вскоре он стал одним из известнейших в Афганистане полевых командиров. Но однажды он повздорил и с американцами, и в ту же ночь отец Амины пропал без вести. С тех пор от него ни слуху, ни духу… Мать Амины, узнав о бесследном исчезновении мужа, взялась за оружие и начала сражаться вместо мужа. Два старших брата Амины тоже воевали в горах. Мать, не желавшая оставить Амину дома одну, привязывала её шалью к спине и часами обстреливала врага. Амина, привыкшая к стрельбе, спокойно спала во время боёв. Мать кормила двухлетнюю дочь грудью в траншеях во время недолгого прекращения огня. Когда Амине было семь лет, случайная пуля отобрала у неё мать. После этого она пару лет жила впроголодь у родителей отца.

Однажды к ним в дом прибыл французский путешественник по имени Эжен и сообщил Амине, что он – друг её отца. Погостив некоторое время в их доме, Эжен выкупил Амину у тёти и увёз во Францию. Сначала Эжен устроил Амину в Париже в школу по изучению французского языка. После того, как Амина изучила французский, Эжен отвёз её в город Лион для получения более усовершенствованного образования. Там была открыта новая школа для афганских детей-беженцев. Афганские сироты, обучающиеся в этой школе, полностью усваивали европейские ценности. После обучения новым правилам их, как национальную афганскую элиту, возвращали назад в Афганистан, чтобы они распространяли там новые европейские ценности. В школе

проводились усовершенствованные уроки, и преподавали грамотнейшие учителя. Кормили детей бесплатно. Из выпускников этой школы избирались будущие руководители Афганистана. Обычно этих людей выбирали почему-то среди детей, отцы которых не воевали. Главным критерием была их ненависть к своему прошлому. Афганским детям, обучающимся в этой школе, чуждые ценности преподносились как родные, а родные ценности – как чуждые. Традиционные мусульманские ценности преподаватели выставляли в худшем свете.

Через пару лет обучения в этой школе Амина так же, как и остальные, невзлюбила мусульманскую культуру. Как и все учащиеся этой школы, она стеснялась своего прошлого и высмеивала свое прошлое. В этой школе воспитывали новых афганцев, новых мусульман и новое мусульманство. За годы обучения Амина научилась думать по-другому, обрела иной взгляд на мир. После успешного окончания лионской школы её отправили в Канаду. Во французской колонии в Канаде учёный по фамилии Либерман обучил её новым афганским ценностям. На протяжении двух лет Либерман рассказывал Амине о необходимости создания доселе неизвестного ей движения «Лешкери-Имам». Это движение было призвано стать воинской организацией, признающей ислам исключительно в рамках этнической культуры и создающей новый язык и новых святых ислама. Члены «Лешкери-Имам» должны были совершить в Афганистане переворот, создать «Национальное Узбекское Исламское Государство» и внедрить новые религиозные веяния. Досконально обучив Амину путям реализации всех этих идей, школа вновь вернула её из Канады в Европу.

За четыре года Амине удалось собрать более шести тысяч этнических афганцев вокруг нового движения, инициированного в Канаде. Вооружив их, она отправила их в Афганистан, в военный лагерь Эмира Тарика. Наконец, сама Амина тоже прошла военные учения в этом лагере. Позднее она собственноручно убила нескольких афганских политиков, противостоящих идеям движения «Лешкери-Имам», совершила ряд взрывов. Словом, она превратилась в профессиональную террористку. После всего этого её отправили в Афганистан, чтобы спрятать на некоторое время. Затем Эмир Тарик сделал её моей напарницей. Это было последним её поручением, полученным от организации.

Иногда Амина спрашивала меня, почему в моей стране нет сражений. Мне нечего было ей рассказать про Азербайджан, так как своих врагов я знал лучше, чем знал Азербайджан. Я знал, что мои враги – армяне. Я помнил их лица. А насчёт Азербайджана – я не знал, друг он мне или враг. Если когда-то Эмиру Тарику удалось сделать меня гражданином Афганистана на территории Азербайджана, значит, Азербайджан тоже не признал меня. Так что же я мог рассказать Амине про родную страну, которую я не знал и которая не признала меня? Поэтому, когда речь заходила об Азербайджане, я молчал. В отличие от Амины, жизнь которой была тесно связана с её родной страной, я был больше связан с историей Эмира Тарика, нежели Азербайджана. Путь, который Амина называла жизнью, был пройден через события, пережитые другими людьми. У неё, как и у меня, не было достаточно сил, времени и возможности, чтобы принять правильное решение для выхода из возникших ситуаций. Ей никто никогда не предоставлял свободы выбора. Она, как и я, жила до сих пор по чьей-то указке. И только сейчас, когда личная жизнь стала налаживаться, она начала задумываться о возможности жить без смерти и потерь. Порой ей и самой не верилось в нынешнюю стабильность её жизни, она жила, постоянно ожидая, что произойдёт что-то ужасное. Практически каждую ночь ей снились кошмары. Несмотря

на все мои утешения и уверения, она не верила, что мы сможем жить спокойной жизнью, как и все.

Мои дела в отеле шли неплохо. Я был далёк от отельного бизнеса, но знал, что в основе всего лежат честность и вера. Поэтому с первого дня работы я говорил только правду и пресекал всяческую ложь на своём пути. Видя в отеле нечестного человека, я серьёзно негодовал, так как был уверен, что в отеле этого набожного человека все должны быть честными и порядочными.

В скором времени я заметил, что некоторые сотрудники отеля нечисты на руку. При уборке номеров некоторые из них крали моющие и чистящие средства и выносили для продажи на «блошином рынке», что серьёзно влияло на доходы хозяина. Нередко посетителей отеля не оформляли в регистрационном журнале, и выплачиваемые ими деньги текли в карман дежурных по отелю. Сотрудники, покупающие продукты для ресторанов отеля, откровенно занимались воровством.

Я вызвал в свою комнату сотрудников, ежедневно обкрадывающих старика, и спокойно призывая их на путь истинный, попросил больше не воровать. Многие меня поняли. Но проблемы на этом не закончились. Всеми этими нечистыми на руку людьми тайно руководил администратор отеля. Однажды ночью я вызвал к себе и его и потребовал работать честно. В ответ он хитро ухмыльнулся и посоветовал мне впредь не вмешиваться в эти дела. Он начал угрожать мне, заявив, что если я не прекращу преследовать его, он убьёт меня. Я не выдержал и схватив пистолет, который я всегда носил за поясом, приставил к его лбу. Хотел нажать на курок, и вдруг у меня перед глазами встало лицо Амины. На мгновенье задумавшись о последствиях, я опустил пистолет.

Утром я рассказал старику обо всех кражах, происходящих в отеле, и почувствовал большое облегчение. Оказывается, кривда, скрываемая в душе, так же тяжела, как и смерть, носимая на плечах. Но когда я рассказывал старику обо всём происходящем, мне стало жалко себя. Жизнь обычного человека требует от него некоторой трусости. Все законы, принятые в жизни общества, в первую очередь ломают, угнетают человеческую душу. Если ты честен и искренен, и при этом жалеешь остальных, то жить совместно с ними у тебя не получится. Несправедливость, встречаемая на каждом шагу, будет угнетать тебя. В справедливости Эмира Тарика хотя бы существовала дверь смерти, через которую можно было уйти. Но в справедливости этих людей не было и этой двери. Нужно остаться здесь и смириться со всем увиденным, привыкнуть к этому и жить с этим. Если хочешь жить припеваючи, живи как все, топча и обманывая слабых.

Терпеливо выслушав меня, старик проинспектировал отель и удостоверился в моей правоте. Начиная с того дня все недельные покупки для нужд отеля были поручены мне – хотя старик был внимателен ко мне и раньше. Каждый день спрашивал у меня, не нуждаюсь ли в деньгах. Ему хотелось знать, чем я занимаюсь за пределами отеля. Видимо, он уточнял, распрощался я со своим прошлым или нет. И каждый раз, не находя в моих действиях ничего предосудительного, говорил:

– Запомни – ты можешь обмануть меня, но Аллаха не обманешь, он всё видит!

Его искренние высказывания вызывали у меня улыбку. Этот старик был ниспослан мне благоволением Аллаха. В своём облике он проявлял мне Аллаха в совершенно ином свете. В этих тонкостях я осознавал значение его слов о том, что Аллах находится в душе каждого человека. Действительно, наилучшее явление Аллаха было в человеческом олицетворении. Чтобы познать Аллаха, надо было взглянуть на че-

ловека. Хороший человек научит тебя жить, а плохой – умереть. Каждый раз, возвращаясь в отель, он здоровался с Аминой и смущённо говорил: «Прошу тебя, роди мне внука, я хочу назвать его в честь Султана Ахмеда!» И каждый раз, видя Амину рядом со мной, он говорил нам: «Прежде всего, я несу за вас ответственность перед Аллахом!»

Испытывая меня каждый день, старик словно проверял – правильно ли он поступил, вернув человека на путь истинный? И каждый раз, удостоверившись в моей честности и правдивости, он радовался. Отправляя меня за покупками, он каждый раз давал мне денег больше, чем было нужно, и, закупив всё необходимое, я возвращал оставшуюся сумму бухгалтеру до последней копейки. Нередко я просил старика не испытывать меня таким лёгким способом.

По вечерам старик приглашал нас в свою усадьбу. Сам он проводил весь день в богослужениях. Он женился дважды, но детей у него не было. Усыновление чужого ребёнка он считал вмешательством в дела Аллаха. Каждый раз, когда речь заходила о детях, он говорил: «А на что мне дети? Дети всего мира и есть мои дети!» Этого человека, изменившего мою человеческую сущность, звали Эврен. Он был из рода турок-сельджуков. Отец назвал его в честь Эхи Эврена, к которому относился весь их род.

– Это мы принесли в Турцию ирфан[1], – говорил старый Эврен. – Ещё со времён Адама, включая греческий период, эта территория управлялась текийской духовностью. Мы, сельджуки, владеем редкой культурой, которая смогла создать империю духов, способных духовно изменить и улучшить весь мир совместно с мировыми империями. Ты не знаешь этого, тебя не учили этому. Вы – азербайджанские тюрки – также относитесь к ирфану. После Шаха Исмаила османские турки испугались текийского духа и вызвали сюда арабских учёных. Но, несмотря на это, даже сегодня существование этой территории связано с текией. Сначала Сасаниды, затем советская власть истребила вас изнутри, уничтожила в ваших сердцах дух ирфана. В вашем мышлении нет никакой тропы веры. Сегодня эту пустоту могут набить всякими глупостями все, кому не лень – впрочем, так и происходит. У тебя внутри царит пустота. Свет Аллаха всё ещё не коснулся твоей души. У тебя есть вызубренное учение, языка которого ты не знаешь. Ты совершаешь намаз, молишься Аллаху и даже был готов погибнуть ради Аллаха. Но для чего? Действительно ли Аллах хотел от тебя этого? Не верю. Этого от тебя хотел лишь коварный человек. Аллах не желает человеку жестокой смерти. Даже смерть Аллах дарует человеку с радостью.

Эврен обучил меня бескорыстной, истинной духовности. Мусульманская религия – прежде всего, религия любви и стабильности. Если у тебя есть враг – побеждай его, если нет – не выдумывай. Даже врага сначала надо научиться любить. Умей наслаждаться своим существованием каждое мгновение, благодарить создателя за это и любить все его творения. Такова была жизненная философия, мировоззрение Эврена. Эта философия проявлялась и в его действиях. Его язык, мышление и действия дополняли друг друга. Образ жизни полностью соответствовал его убеждениям. Именно благодаря его духовной чистоте и справедливости я осознал, что значит настоящий покой. Оказывается, мир не имеет к нам никакого отношения. Он существует сам по себе – вместе со своими ветрами, дождями, снегами, водами… Он не приспосабливается к нам. Это мы должны приспособляться к миру. Видение мира в плохом или хорошем свете зависит от наших взглядов. Если видение среды твоего обитания представляет тебе мир в плохом свете, то мир для тебя будет всегда плохим и же-

[1] Ирфан – особый вид сакрального знания о том, как достичь близости к Аллаху.

стоким, и – наоборот. Тебе следует только знать, что хорошее – лучше плохого. Поэтому ты сам должен быть хорошим, соблюдать покой. К миру необходимо приспособляться, не напрягая себя, не усложняя себе жизнь. Именно так я и приспособился к миру – начал жить спокойно, не считая прошедшие годы, не вороша и не касаясь их. Я забыл своё прошлое, перестал думать о будущем, начал радоваться сегодняшнему дню – словом, родился заново. Любовь Амины полностью заменила мне всё, преданное забвению. Переступив через смерть, я очутился в зелёной долине, в которой обитала Амина. Для меня изменился даже цвет, воздух, аромат всего мира.

В один прекрасный день старик назначил меня администратором всех своих дел и сообщил, что отныне и до самой смерти он будет заниматься только богослужением. Моему сыну Ахмеду было уже шесть лет. Амина преподавала французский язык студенткам турецко-европейского женского лицея. Она тоже, как и я, жила уже не ради себя, а ради сына. Ещё в четырёхлетнем возрасте мы научили сына плавать, ездить верхом и полагаться только на себя. Прежде всего мы нужны были нашему сыну и должны были жить ради него. Амина успокоилась, привыкла к новому укладу жизни. Старый Эврен всё ещё был рядом с нами. Я настолько привык к новой жизни, что мне казалось, что всё прошлое мне всего лишь приснилось. Однако порой какой-то неожиданный всплеск, знакомое действие или же обращение вновь напоминали мне прошедшие дни. У каждого мгновения своё решение, у каждого человека – своя участь. Чему быть – того не миновать. И я лишний раз удостоверился в этом.

Однажды я сидел возле отеля и ждал складчика. Внезапно заметил такси, припаркованное перед зелёной полосой, запрещающей въезд автомашин. Водитель как ни в чём не бывало фотографировал маленьким фотоаппаратом здание отеля. Я поспешно подошёл к машине и попросил водителя опустить стекло. Позднее я задумывался – интересно, если бы я в тот день не ждал складчика или же смотрел не туда, где стояло такси, произошло бы то, что произошло? Но даже если бы в тот день меня не было возле отеля, всё случилось бы так, как случилось. Что бы там ни было, моя жизнь, в которой мне были дарованы Амина и Ахмед, имела бы одинаковую концовку. Видимо, человеческая воля способна изменить не судьбу, а лишь путь, ведущий к концу. Мне удалось отложить свою смерть на семь-восемь лет, но никак не изменить свою судьбу. Оказалось, что семь-восемь лет – не такой уж и большой срок на пути, ведущем к концу.

Когда я стучал в окно такси, солнце уже восходило из-за горизонта. Капал мелкий дождь. В тот день в нашем отеле планировалась пресс-конференция премьер-министра Турции, поэтому в отеле осуществлялись повышенные меры безопасности. Я всю ночь провёл на ногах, не выспался, поэтому был уставшим, задумчивым. Складчик опаздывал на работу, и это раздражало меня ещё больше. Водитель такси опустил стекло и, не глядя мне в лицо, спросил:

– Что нужно?

В отличие от водителя, мне было ясно видно его лицо. Раньше меня его узнали мои ноги, которые тут же окоченели. Я видел этого человека всего лишь раз, но запомнил его навсегда. Это был тот самый темнокожий араб, который семь лет назад, в Этиляре, пытался меня убить. Скорее всего, и на этот раз он прибыл в этот отель не для развлечений. Он планировал взорвать отель с целью убийства премьер-министра Турции. Я ничего не сказал – араб мог узнать меня по голосу. Не исключено, что он был не один – на такие сложные задачи они в одиночку не приходят. Взяв себя в руки, я спокойно направился к дверям отеля. Вошёл в свою комнату и вызвал к себе чело-

века, ответственного за безопасность премьер-министра. В комнату вошёл майор средних лет, и я попросил его отложить пресс-конференцию. Он начал расспрашивать меня о причинах, но мне нечего было ответить ему. Не мог же я сказать, что этот араб является террористом, моджахедом организации «Лешкери-Имам», членом которой когда-то состоял и я, и которая стремится создать в Афганистане новое государство?! Если бы я это сказал, то мне пришлось бы рассказать, откуда я его знаю, и признаться, что я и сам когда-то был моджахедом. Какова будет судьба Ахмеда, если я признаюсь во всём этом? Не станет ли он изгоем после этого и не попадёт ли в руки таких Эмиров Тариков? Я не имел права превращать улыбку Амины в печаль. Я был вынужден молчать, дабы не наболтать лишнего. Но как же отель? Ведь араб прибыл сюда, чтобы совершить террористический акт. Я проводил майора и достал из выдвижного ящика пистолет, который я хранил там. Моё опоздание хотя бы на мгновение могло бы привести к гибели сотен ни в чём не повинных людей. Не дождавшись лифта, я побежал по лестницам вниз и, выйдя через заднюю дверь, направился к такси. Оно всё ещё стояло на прежнем месте. Подошёл к такси, открыл заднюю дверцу и, не промолвив ни слова, сел на заднее сидение и приставил дуло пистолета к жирному затылку араба.

– Сколько вас человек, и где установлены взрывные устройства? – спросил я на арабском.

Вместо ответа араб выругался. Первая же пуля оторвала ему ухо. Кровь брызнула мне в лицо, по салону распространился запах крови. И когда я готовился повторно нажать на курок, араб оглянулся и, увидев меня, ахнул:

– Одноглазый? Разве ты не умер?

– Умер! – ответил я.

Осознав по моему голосу неизбежность своей смерти, араб подробно рассказал мне, куда подложена взрывчатка и сколько моджахедов находятся в отеле. Взамен он попросил позволить ему совершить предсмертную молитву.

Прикончив араба в салоне такси, я вышел из машины. Отыскал и обезвредил всю подложенную взрывчатку, затем вошёл в конференц-зал и попытался вычислить моджахедов, которых я не знал в лицо. Я был знаком со стилем работы Эмира Тарика и приблизительно знал, на каких точках и по какой линии будут расставлены моджахеды. Я изучал эти приёмы на протяжении долгих лет. По словам араба, моджахедов было трое. Первого моджахеда выдало появившееся на его лице лёгкое волнение и часы, являющиеся пультом от взрывного устройства. Он стоял у входа в зал – внешне был похож на азербайджанца. Глаза его казались такими родными… По его взглядам я мог вычислить и других моджахедов. По инструкции Эмира Тарика моджахеды должны переглядываться каждые шесть минут, чтобы сообщать друг другу о том, что всё идёт по плану. Вычисленный мной первый террорист то и дело смотрел вверх. Уловив его взгляды, я обнаружил снайпера, спрятавшегося наверху за занавеской. А третьим моджахедом неожиданно оказался служащий отеля. Он расположился между снайпером и моджахедом, стоявшим у входа. Он не удосужился даже поменять обувь – был обут в солдатские ботинки, какие выдавали на военной базе. Оказывается, люди Эмира Тарика были также среди персонала отеля. Может, они уже знают, что я жив? Это мне предстояло выяснить позднее. Эмир Тарик был в своём репертуаре – ничего не поменял. Я мог в одиночку ликвидировать этих пока что неопытных трёх моджахедов. Но я не стал этого делать, так как при любом моём шаге полиция могла бы вычислить меня, а Эмир Тарик мог узнать, что я жив. Я рисковал жизнями Амины и сына Ахмеда. Я не мог даже сообщить полиции о подложенной в отеле взрывчатке – они тут

же потребовали бы у меня доводы и доказательства. А все доказательства при разбирательстве могли обернуться против меня. У меня не было времени объяснять полиции даже те доводы, которые не имели ко мне никакого отношения. За секундами подкрадывалась смерть. Моё опоздание могло привести к гибели сотен невинных людей. Старому Эврену надо было вмешаться. В отличие от меня, ему поверили бы без всяких доводов. Я позвонил и рассказал старику обо всём, затем отошёл в сторону и начал наблюдать за происходящим. Старик вовремя успел предупредить полицию. Пресс-конференция отменилась. Премьер-министр был возвращён обратно с полпути. В зал вбежали отряды особого назначения, и один из них почему-то выстрелил в воздух. Этот выстрел напугал присутствующих, и они, в ужасе расталкивая друг друга, поспешили к выходу. Моджахед, поняв, что план сорван, нажал на кнопку пульта и, увидев, что устройство не сработало, дал знак снайперу. Тот первым же выстрелом свалил полицейского, стоявшего в первом ряду. Моджахед, не сумевший запустить взрывчатку, схватил оружие упавшего полицейского и начал стрелять в солдат. Его первая пуля попала в офицера полиции. Моджахеды всей душой верили в святость своих действий и не боялись смерти, поэтому они были намного смелее полиции и солдат. Но когда они начали стрелять не только в полицейских, но и в обычных людей, собравшихся в зал, я уже не смог сдержаться. Первым же выстрелом смертельно ранил снайпера. Увидев это, моджахед, переодевшийся в служащего отеля, выстрелил в меня и ранил в левую руку. Свалив его одним метким выстрелом, я набросился на третьего моджахеда – сначала обезоружил его, затем одной подсечкой свалил его на пол. И пока мы боролись на полу, подоспевшие полицейские надели на него наручники. Я успокоил разбегающихся в страхе людей и, проводив их до дверей, сел на табуретку. Из руки безостановочно хлестала кровь – я не мог внятно разобрать происходящее вокруг. Высокопоставленные офицеры полиции и армии Стамбула, прибывшие в отель, пожимали мне руку, фотографировали меня. Старушки целовали меня в лоб. А я уже видел свою смерть – она стояла в углу и ухмылялась.

Меня усадили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Услышав о произошедшем, Амина тоже прибежала в больницу. Подбежав к носилкам, на которых я лежал, она обняла меня:

– Я же говорила, что нашему спокойствию когда-то придёт конец! Где нам теперь спрятать Ахмеда? – шепнула она.

В ту ночь ни я, ни Амина не сомкнули глаз. Смерть вновь стояла возле наших дверей и холодно ухмылялась. Амина, как опытная террористка, знала, что во время происшествия обязательно неподалёку находится безымянный контролёр моджахедов, которого не знают даже они сами. Вчера этот неизвестный человек увидел и меня и, скорее всего, запомнил. А утром выяснилось, что в том неизвестном человеке не было нужды – моя фотография была опубликована во всех турецких и немецких газетах. А видеокадры, снятые на месте происшествия, были продемонстрированы на многих телеканалах мира. Я – Одноглазый, и спутать меня с кем-то невозможно. Это событие положило конец моей семилетней мирной жизни. Я вновь превратился в добычу, в охотника смерти. Не исключено, что раньше всех меня узнал Эмир Тарик и, широко раскинув руки, воскликнул: «Это же мой Одноглазый!»

Где я мог скрыться от них? На родине, о которой я помню лишь название? Там каждый печётся о себе – меня там никто не ждёт. Там все стремятся улучшить свою жизнь и поэтому соглашаются на всё. И вообще, там соглашаются со всеми. Эмир Тарик мог с лёгкостью найти человека и прикончить меня там. Кроме того, с родиной

меня ничего не связывало. Эта родина не позаботилась обо мне даже в самую уязвимую пору моей жизни и ожидать этой заботы сейчас совсем не приходилось. А родина Амины была также родиной Эмира Тарика, и именно там нас ожидала смерть. К тому же, я сейчас думал не о себе – мне нужно было во что бы то ни стало спрятать Амину и Ахмеда. Моджахеды ещё не знали, что Амина жива, не знали и о нашей женитьбе.

Я поселил Амину и Ахмеда в охраняемой загородной усадьбе Эврена. Старик нанял для нас двух дежурных из местной полиции. Я сам вернулся в отель и начал ждать удара, который должен был прийти неведомо откуда и когда, но прийти обязательно. Мой страх длился несколько дней – пока что было тихо. Может, Эмир Тарик простил меня? Может, он не осмеливается соваться сюда? Рана на руке зажила очень быстро. Через неделю полиция Стамбула объявила меня почётным гражданином города. Мне присудили государственный орден за спасение сотен человеческих жизней. Больше всего этому радовался старый Эврен. Каждый раз, видя меня, он говорил: «Ты – моё наивысшее достижение, регулирующее мой жизненный уклад!»

Таким образом, я решил, что то происшествие осталось в прошлом и окончательно позабылось. Увы – я ошибался… Приближающуюся беду первой ощутила Амина. Она позвонила мне и срочно вызвала в усадьбу. Как только я подъехал к усадьбе и вышел из машины, она подбежала ко мне и встревоженно промолвила:

– Кто-то следит за мной! Давай уедем из этой страны, иначе нас убьют!

Я обнял её и попытался успокоить:

– А куда мы можем уехать?

Видимо, Амина ещё до меня задумалась о том, куда мы можем уехать, и поняла, что покоя нам не видать нигде. Поэтому ничего не ответила. Мы долго стояли, обнявшись и прижавшись друг к другу.

Вечером я сам уложил Ахмеда спать и вернулся в отель. Я уже твёрдо знал, как мне поступить: сам пойду к Эмиру Тарику, найду его и скажу: «Вот и я, собственной персоной! Сам пришёл к тебе! Убей меня. Ты же хотел этого. Только Амину и сына не трогай! Они ни в чём не виноваты!» Другого выхода я не видел.

Утром я взял ручной багаж, чтобы уехать в Афганистан, и когда спускался по лестнице, кто-то в фойе схватил меня за руку. Я оглянулся и не поверил своим глазам. Это был мой друг Шакир, который вместе со мной учился в медресе в Баку. Увидев его, я даже обрадовался. Но Шакир, не обращая внимания на мою радость, обхватил меня руками.

– Не двигайся, иначе мы оба погибнем, у меня в поясе взрывчатка! – шепнул он. – Тебе привет от Амины! Следуй за мной!

Услышав имя Амины, я последовал за Шакиром и вышел из отеля. Мы сели в машину, ожидавшую нас возле отеля. Моджахед, сидевший на заднем сидении, связал сзади мои руки верёвкой и что-то вколол мне. Под воздействием укола у меня в одно мгновение онемели руки и ноги. Я обмяк, оказался не в состоянии двигать конечностями. Разозлился, но сил хватило только на слёзы. У меня до сих пор перед глазами стоит лицо моджахеда, нагло смеявшегося над моими слезами. Шакир был за рулём и вёл машину на высокой скорости. Через некоторое время мы приехали к усадьбе старого Эврена. Возле усадьбы, на лужайке, где стоял мой свадебный шатёр, со связанными руками лежали Эврен, Амина и Ахмед, а над ними стояли вооружённые моджахеды. Чуть вдали на лужайке лежали тела убитых полицейских и охранников. Моджахеды не пожалели даже служанок. Амина извивалась на лужайке, изо всех сил пытаясь развязать руки.

Шакир вышел из машины, не промолвив ни слова, подошёл к старому Эврену и хладнокровно выстрелил в старика. Затем, усевшись на тело Эврена, с улыбкой помахал мне рукой. Я не мог понять, откуда у Шакира столько жестокости. Шакир сидел на теле старика до тех пор, пока тот не испустил дух. Затем он встал и, улыбаясь, подошёл к Амине. Я не мог пошевельнуться, укол превратил меня в один беспомощный глаз. Я мог всего лишь наблюдать за происходящим. Шакир приподнял Амину и вложил в её руку гранату. Затем протянул пистолет Ахмеду и пальцем указал на мать. Ахмед встал, подошёл к Шакиру и взял у него пистолет. Шакир развязал ему руки, и Ахмед, тут же подбежав к матери, крепко обнял её. Шакир оглянулся и с улыбкой взглянул на меня. Он знал, что я когда-то пристрелил родную мать. Эту историю ему рассказал я сам. Эта сцена была знакома мне. В то же мгновение я всё осознал. Оказывается, вся моя жизнь длилась только ради того, чтобы я увидел эту сцену. Рука божества уберегла меня от смерти и бесконечной боли только лишь для сегодняшнего дня. В этот день мне должны были освежить память. Глядя на Ахмеда, я видел себя. Это не Ахмед приставил дуло пистолета к животу родной матери – это был я. Я всё ещё был не в силах вмешаться в происходящее. Я делал лишь то, что мне говорят. У меня перед глазами мой сын повторял мою судьбу. Ахмед, так же, как и я, стоял с пистолетом в руке, приставив его к животу родной матери.

– Стреляй же, стреляй! – крикнул Ахмеду Шакир.

Амина с любовью смотрела на Ахмеда – как когда-то с любовью взглянула на меня моя мать. Неужели мой сын действительно повторит мою судьбу? Неужели ему тоже предстоит прожить жизнь труса, пристрелившего родную мать?

Внезапно Ахмед обернулся и выстрелил из пистолета в Шакира, выпустив в него всю обойму. Шакир ошарашенно упал ниц на лужайку и, хрипя, начал извиваться. Моджахеды, увидев это, попытались поднять Шакира, но было уже поздно. Пристрелив Шакира, Ахмед бросил пистолет и начал плакать. В отличие от меня, Ахмед убил не родную мать, а своего врага. Каким должен был быть ответ на этот выбор? Что ожидало Ахмеда?

В это время на небе появились военные вертолёты. Моджахеды, увидев солдат, подбегающих к нам со стороны поляны, поспешно уселись в машины и начали отъезжать. Один из людей Эмира Тарика выстрелил в сторону Амины и подорвал гранату в её руке. А другой взял Ахмеда на руки и ринулся к машинам. По его приказу моджахеды вывели меня из машины – я окончательно онемел, не мог даже пикнуть. У меня на глазах моего сына увозили убивать, а я был не в состоянии что-либо предпринять. Ахмед до последнего мгновения звал меня на помощь. Моджахед, усадив Ахмеда в машину, вернулся ко мне:

– Вместо тебя Эмир Тарик забирает твоего сына, – сказал он. – Ты не смог стать ангелом. Но твой сын станет. Теперь иди, помолись над остывшим телом Амины – посмотрим, сможет ли она сделать тебя счастливым после смерти? Ступай, живи в мучениях, ты не достоин смерти!

Плюнув мне в лицо, моджахед сел в машину. Когда он завёл двигатель, я потерял сознание и очнулся только через два дня в городской больнице. Я остался жив, но был как мёртвый. Эмир Тарик убил не Амину, а меня.

В день, когда я выписался из больницы, Эмир Тарик позвонил мне и, даже не поздоровавшись, воскликнул:

– Вечером не забудь посмотреть новости по телеканалу «Аль-Джазира» – будут показывать твоего сына!

Я понял, что уже и сына нет в живых – его убили.

Вечером я включил телевизор и уселся перед ним. В самом начале новостей на экране появилась фотография Ахмеда – он совершил теракт в Сомали и вместе с собой взорвал семьдесят шесть человек. Корреспондент «Аль-Джазира», сфотографировавший его с мишкой в руках, сообщал, что взрывчатка находилась внутри мишки, но ребёнок не знал об этом.

Отчего-то смерть сына никак не подействовала на меня. Я не мог даже плакать – видимо, был уже мёртв. Видимо, ещё со дня рождения Ахмеда я знал, что он погибнет, был готов к его смерти. К тому же у меня иссякли слёзы. «Эмир Тарик всё же добился своего!» – шепнул я сам себе. Теперь очередь была за мной.

У меня в этой жизни остался лишь один долг. Меня с этим миром связывало лишь одно желание – найти и убить Эмира Тарика. Кроме него у меня уже никого не осталось.

Я распродал всё имущество старика и передал деньги в детские дома. Откуда-то слышал, что Эмир Тарик открыл новое духовное медресе в Боснии. «Значит, теперь он там превращает сирот в «ангелов», – подумал я. Подготовив фальшивые документы, улетел в Боснию. Мне не с кем было прощаться в аэропорту, да я и не любил прощаний. Мне предстояло убить Эмира Тарика и уйти на встречу с Аминой и сыном. Здесь не было никого, с кем я мог бы попрощаться – все, кого я хотел видеть, были уже там. Здесь остался только Эмир Тарик.

После двухдневной разведки я застал Эмира Тарика в лавке, где он ежедневно покупал продукты для нового медресе. Этим утром я зашёл в лавку, чтобы в последний раз «прижать его к груди». Прошёл мимо старушки, которая сидела на табуретке со сломанной ногой и ни свет ни заря пила вино. Руки у старушки тряслись, и вино капало с подбородка ей на грудь. Красное вино напоминало кровь.

Глядя на мальчика, потянувшего меня за куртку и протянувшего ко мне руку, я вспомнил своё прошлое. В это в время в лавку с улыбкой на лице вошёл Эмир Тарик – он был в выцветшей чухе. Я сильно обрадовался, увидев его. Увидев меня, он сразу меня узнал и улыбнулся ещё шире – словно увидел родного человека. Я вывел маленького попрошайку из лавки и, вернувшись, крепко обнял Эмира Тарика, изо всех сил прижав к груди. Оказывается, он боялся смерти – это я осознал по выражению его глаз. Провёл рукой по его чёрной бороде и шепнул: «Не бойся, смерть – это спасение!»

Не успел он ответить, как я запустил взрывчатку, привязанную к поясу. Куски его растерзанного тела разлетелись по полу лавки, по прилавку. Возможно, среди этих кусков были и куски моего тела – из-за боли я не мог понять это. Ведь смерть приравнивает всех и вся – в последнее мгновение я услышал шёпот, звучащий в моей душе на протяжении многих лет. Это был шёпот моего отца. «Где же ты? – шептал он. – Тебя нет ни на том свете, ни на этом… И в историю ты не попал. Так где же ты жил, как же ты умер, сын мой, мой падишах?»

Я не мог осознать слов своего отца, так как вместе с телом взорвалось и моё сознание. Я не мог также осознать, убил ли я Эмира Тарика, или это он убил меня? Я видел только одно: мы оба радовались своей смерти…

ТАИРА ДЖАФАРОВА

ИЗ ЖЕНСКОЙ ЛИРИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Классическая поэзия Азербайджана представлена целой плеядой всемирно известных поэтов, таких, как Физули, Низами Гянджеви, Насими… Этот славный ряд легко продолжить. Но не менее богата она и женскими поэтическими именами.

Недаром наш национальный лидер Гейдар Алиев, всегда внимательно относившийся к культурному наследию народа, отмечавший его даровитых представителей, говорил: «В прошлые века в Азербайджане были женщины-поэты. Мехсети Гянджеви, Агабеим-ага Агабаджи, Хейран ханым, ашуг Басти, Хуршидбану Натаван – в прошлые века они показали всему миру, какого высокого духовно-интеллектуального уровня достигла азербайджанская женщина. Они – наша национальная гордость...

Нелегко быть поэтом. Не только в истории нашего народа, но и в истории народов всего мира обычно поэтами, писателями, учеными были мужчины. Но женщины-поэты пользуются особым уважением. Они должны обладать таким высоким талантом, чтобы подняться на один уровень с мужчинами, а возможно, и выше, написать такие стихи, чтобы войти в плеяду крупных поэтов».

Среди перечисленных Гейдаром Алиевым поэтесс особенно известна Мехсети Гянджеви, ее поэтическое наследие переведено на разные языки, но наиболее часто ее стихи переводили на русский. Так же хорошо известна русскоязычному читателю поэтесса Хуршидбану Натаван, существуют русские переводы и стихов Хейран ханым.

Другие замечательные поэтессы и ашуги, к сожалению, до сих пор остаются незнакомыми русскоязычному читателю.

Поэтому, когда я отбирала стихи наших поэтесс, чтобы перевести их на финский язык для давно задуманной антологии «Женская лирика Азербайджана», то решила сначала перевести их на русский язык. Тем более, что среди финских переводчиков почти невозможно найти владеющих азербайджанским языком, и я надеялась, что мои переводы заинтересуют их, помогут им понять оригинальный строй и строфику нашей женской лирики.

Поэтессы Азербайджана

Предисловие к антологии

Женская поэзия в Азербайджане имеет многовековую историю, она начинается, по меньшей мере, с XII века, и это древняя, необычная и яркая восточная поэзия. Мало в какой стране поэтический голос женщины прозвучал так рано и так звонко. Поэтому азербайджанская женская лирика по праву заслуживает того, чтобы быть переведенной на другие языки мира.

Первой азербайджанской поэтессой была Мехсети Гянджеви. Она считалась мастером рубаи – особой формы четверостишия в восточной поэзии. Мехсети жила в XII веке и была современницей Омара Хайяма. Иногда люди путали ее рубаи с рубаи Омара Хайяма, настолько виртуозно она их сочиняла.

То, что женская поэзия зародилась столь давно, говорит о том, что талант пробивал себе дорогу, несмотря на все трудности и сложности положения женщины в тогдаш-

нем обществе Востока и, в частности, в Азербайджане. Азербайджанские поэтессы были очень талантливы и покоряли своей лирикой, своим искусством. Тем более, что женщинам в те времена необходимо было быть литературно даже способнее мужчин, чтобы получить признание. Но поэзия женщин так или иначе преодолевала все препятствия, проникновенные голоса невозможно было заглушить. Хотя женщина в то время была как бы безъязыким придатком мужа и полностью бесправна. Если муж участвовал в литературных меджлисах, то жена не могла на них присутствовать. Она, как в заключении, оставалась дома, была только домохозяйкой и растила детей.

Народный писатель Азербайджана Мирза Ибрагимов, восхищаясь первой нашей поэтессой, так писал о ней: «Мехсети ханым, жившая в Гяндже в XII веке, когда религиозные догмы заставляли женщин закрывать лицо, превращали их в домашних рабынь, созывала собрания писателей и музыкантов. Она писала свои рубаи, которые отвергали схоластические догмы и провозглашала право человека наслаждаться прелестями жизни».

Женщина-поэтесса должна была превосходить мужчину по одаренности и мастерству в искусстве стихосложения, чтобы иметь право участвовать в поэтических меджлисах.

В Азербайджане издавна зародилось и было очень популярно ашугское искусство, и женщины-ашуги часто не уступали в таланте мужчинам, а бывало, что и превосходили их. В переводе на русский «ашуг» означает «влюбленный». Это значит, что главным в их поэзии была любовная лирика. В истории азербайджанской поэзии известна целая плеяда женщин-ашугов – это Агабеим ага Агабаджи, Хейран ханым, Ашуг Пери, Фатьма ханым Камине, Ашуг Басти и многие другие. Но мы здесь представляем творчество лишь самых известных поэтесс.

Ашуги делятся на две категории: ашуги-поэты и ашуги-исполнители. Ашуги-исполнители занимаются лишь сказительской деятельностью, пересказывают сказки, исполняют дастаны классиков. Ашуги-поэты, кроме исполнения классических произведений, занимаются поэтическим творчеством.

Ашугское искусство синтетично: ашуг-поэт не только сам пишет стихи, но и сочиняет музыку, играет на сазе и сам танцует. Собрание ашугов называлось меджлисом. Интересной формой ашугского искусства был также музыкально-поэтический турнир, называемый «дейишме», участники которого состязались в загадках, вопросах и ответах. Если один из ашугов не мог ответить в стихотворной форме своему сопернику, то победитель имел право забрать саз побежденного, а побежденный лишался звания ашуга.

В 2009 году, на четвертой сессии Комитета по защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Абу-Даби, искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Азербайджан был также первой страной во всем мусульманском мире и Центральной Азии, в которой девушки и женщины стали получать образование.

В XIX и начале XX века, во времена нефтяного бума на берегах Каспия, было основано множество женских школ – и в столице, в Баку, и в разных районах Азербайджана.

Появившиеся отечественные нефтяные магнаты хотели внести свой вклад в развитие родной культуры, предоставить возможность получить хорошее образование как мужчинам, так и женщинам Азербайджана. Первую женскую школу для девушек мусульманок в Баку открыл известный миллионер-меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев. Ему для этого пришлось приложить немало усилий: испрашивать разрешения у русской императрицы, преодолевать сопротивление мусульманского духовенства. Но постепенно в Азербайджане стало открываться множество школ.

Если обратиться к истории Азербайджана, можно заметить, что катаклизмы в его истории также сыграли немалую роль в развитии культуры и, в особенности, литературы.

В течение нескольких веков Россия и Персия вели борьбу за господство над зем-

лями Азербайджана. Они оставили заметный след в области культуры, в языке, что не могло не повлиять и на язык поэзии. Некоторые поэты, такие, как великий Низами, современник Мехсети, слагали свои стихи на двух и более языках. В стихах других поэтов, писавших на азербайджанском, зачастую встречались персидские и арабские слова.

Русско-персидская война закончилась в 1828 году, и был заключен Туркменчайский договор, по которому северная часть Азербайджана отошла к Российской империи, а южная часть – к Персии. Граница с Персией проходила, да и на сегодняшний день проходит по реке Араз. В составе России Азербайджан в качестве губерний просуществовал девяносто лет.

Когда в 1918 году в результате революции распалась Российская империя, в Азербайджане была основана первая демократическая республика – АДР, которая просуществовала два года: 1918-1920. Тогда в ней начали закладываться основы парламентаризма и демократии. Ее основателем был Мамед-Эмин Расулзаде, государственный деятель, журналист и драматург. Но большевикам удалось установить в ней собственный режим и превратить в одну из республик СССР, в Азербайджанскую ССР. И только после перестройки в СССР, в 1991 году, наша страна вновь обрела независимость и с тех пор называется Азербайджанской республикой. Но значительная часть азербайджанцев осталась проживать в северном Иране, который мы называем Южным Азербайджаном, и они также говорят на азербайджанском языке.

Итак, следует повторить, что в результате исторических перемен, бросавших Азербайджан в состав то одного государства, то другого, азербайджанская литература испытывала сильное иноязычное влияние. Поэтому некоторые поэты в давние времена писали свои стихи на азербайджанском и на персидском языках, а в более поздние – и на русском.

Перевод стихов, связанных с персидской традицией, на иностранные языки, в особенности поэтесс Натаван и Фатмы Камине, непрост.

Кроме языковых трудностей имеется еще и другая. Дело в том, что алфавит азербайджанского языка в течение последнего века три раза менялся – в начале XX века от арабско-персидского перешли к латинице, затем, в 1930 году, – к кириллице и, наконец, после 1991 года снова вернулись к латинице. Эти реформы также создают своего рода сложности в переводе поэзии.

Надо отметить, что уже во времена нефтяного бума были заложены предпосылки равноправия женщин и мужчин. Сильное европейское влияние проявлялось еще и в том, что немало состоятельных людей стало отправлять своих детей учиться за границу, во многих семьях появились иностранные гувернантки и учителя, обучавшие детей языкам. Тогда впервые женщины, чаще всего из богатых семей, стали «сбрасывать чадру», одеваться по-европейски, участвовать вместе с мужьями в культурной жизни, посещать театры и концерты, особенно в больших городах и, в первую очередь, в Баку.

А в начале XX века, и особенно во времена советизации, когда ввели систему всеобщего обучения, много внимания уделялось образованию женщин, их равноправию с мужчинами. В результате роль женщины в культуре и во многих других сферах заметно возросла. Число пишущих женщин, как в поэзии, так и в прозе, увеличилось. Появились яркие имена. Среди них надо отметить талантливую поэтессу Нигяр Рафибейли, которая также явилась составителем и автором вступительного эссе к антологии женской поэзии Азербайджана.

Эта антология, из которой нами и были отобраны стихи для переводов, послужила основой для нашего поэтического сборника. Послесловие к ней написала известный литературовед, доктор философии Азиза Джафарзаде.

Отдельно следует сказать о поэтессах Азербайджана, пишущих на русском языке. Их также по тематике, по особенностям взгляда на действительность, по национальному восточному колориту относят к азербайджанской литературе. Они посвящают свои стихи Азер-

байджану, его природе, его историческим и современным событиям, перипетиям своей судьбы, личным переживаниям. Их стихи также вошли в заключительную часть нашей антологии. Таким образом, у читателя сложится полное представление обо всем многообразии женской поэзии Азербайджана.

Итак, представляем вам стихи прекрасных азербайджанских поэтесс и поэтесс-ашугов: Агабеим-ага Агабаджи, Ашуг Пери, Натаван, Фатма Камине, Ашуг Басти. Предваряют их краткие биографические сведения. Стихотворение Хуршидбану Натаван «Гвоздика» на русский язык прежде никогда не переводилось.

РАЗИЯ ГЯНДЖЕВИ

О поэтессе Разии Гянджеви почти ничего не известно. Но до нас дошли ее стихи, включенные в известную антологию «Сады меджлиса» («Nüzhətul-məcalis»), составленную в XIII веке. Поэтому принято считать, что время, когда жила поэтесса – XII – XIII века.

Рубаи

Мне не спится, в глазах мой любимый опять.
Не уходи, плачу я, не могу перестать,
Потому, что в глазах моих ты поселился,
Слезы радости льются, вовек не унять.

Твои волосы как мои вздохи длинны,
Все манеры утончены, взгляды нежны,
И очам твоим бархатным сердце покорно,
Их красе ухищренья сурьмы не нужны.

В моем сердце ты первый, мой идол святой,
Не насытится сердце твоей красотой,
Даже сахар покажется сердцу не сладок,
Испытавшему твой поцелуй золотой.

АГАБЕИМ-АГА АГАБАДЖИ

(1782 – 1832)

Агабеим-ага, дочь Гарабахского Ибрагим-хана, в юности была влюблена в своего двоюродного брата Мохаммед-бека. Мохаммед-бек был предводителем ханского войска. Явившись в Шушу к Ибрагим-хану, Мохаммед-бек должен был сразу же отправиться в поход.

Об этом ее стихи:

Любимый мой вернулся темной ночью, и ночь его тотчас же увела.
Я так и не увидела воочью, как жизнь моя пришла и как ушла.

После убийства Ага-Мохаммед-шаха Каджара в Гарабахе, Ибрагим-хан, для сближения с Ираном, выдал свою дочь Агабеим-агу за нового иранского шаха, племянника Ага-Мохаммед-шаха – Фетхали-шаха, и отослал ее в Тегеран.

Вступая в гарем Фетхали-шаха, его жёны могли выбирать себе любое платье из несметного шахского гардероба. Агабеим-ага знала, что там находится и платье матери шаха. Поэтому, как только её привели в костюмерную, она нашла это платье и надела. Увидев Агабеим-агу в платье своей матери, Фетхали-шах был поражён и с тех пор никогда к ней не прикасался. Но, восхищенный умом Агабеим-аги, шах назначил её главной женой гарема и даровал ей богатое платье с жемчугами. Так говорит предание.

Агабеим-ага тосковала по Родине и выражала свою тоску в четверостишиях – баяты:

Я в тебя влюблена, Гарабах,
Ах, Шеки, ах, Ширван, Гарабах!
Тегеран если станет мне раем,
Все равно не забыть Гарабах.

Шах решил для своей жены посадить «Сад ее родины», собрав в нем все виды растений из Гарабаха. Лишь один цветок, хары-бюльбюль (соловей с шипом), не прижился в этом саду, так как он может расти только в Гарабахе.

«Сад родины» – яркий и пестрый,
Где ж в нем твой цветок, соловей?
Скажи, отчего ты весь пестрый,
Под грудкой лишь желт, соловей?!

Агабеим была умна, образована, прекрасно играла в шахматы и во время игры с шахом сочиняла стихи, сопровождая ими каждый ход. Шах увлекался персидской поэзией и даже сам писал, правда, довольно слабые стихи на персидском, хотя и был тюрком. Но он с удовольствием слушал стихи Агабеим:

1

Возлюбленный мой, знаю, навеки счастлив тот,
Кто рядом с твоим садом жилище обретёт.
Там, ароматом сладким тех цветников дыша,
Получит исцеленье от всех невзгод душа.
А если в путь пустился, я жажду одного –
Стать бубенцом на шее верблюда твоего.

2

Эй, советчик, напрасны, напрасны твои наставленья опять,
Мой огонь они не потушат, мою страсть не сумеют унять.

3

Если будут твою красоту восхвалять до последнего судного дня,
То хвале той не будет конца, и тоска никогда не оставит меня.

АШУГ ПЕРИ

(1811 – 1847)

Ашуг Пери родилась в селении Маралйан Джебраильской губернии и с детства увлеклась ашугскими стихами. Училась она в медресе, где овладела арабским и персидским языками. В 18 лет она переехала в Шушу, столицу Гарабахского ханства, и жила там до конца своей недолгой жизни. До нашего времени дошла лишь малая часть её стихов, а о ее жизни ходят разнообразные легенды. Исследователь ее творчества Фирудин бек Кочарли рассказывает, что в возрасте 25 лет Пери вышла замуж за моллу по имени Мохаммед, но брак оказался несчастливым. Молле не нравилось, что жена пишет стихи, участвует в поэтических состязаниях, и он постоянно упрекал ее. Все свои страдания Пери изливала в стихах.

Творчество Ашуг Пери представляет гарабахскую ашугскую школу первой половины XIX века. А имя ее называют наравне с именами Мехсети Гянджеви, Хуршидбану Натаван, Хейран ханым и Фатмы Камине.

1

Поэту Джафаргулухану Нева

Прослышав о тебе, все удружить готовы,
И все вокруг тебе хвалу воздать готовы,
Но мусульманства ты не забывай основы,
Дай нынче совести в тебе заговорить.

Напомнит пусть Гядир тебе бесценный,
Любимый всеми твой слуга бессменный –
Коль месяц магеррам настал священный,
Не подобает веселиться и кутить.

На громкий зов твой не спешит имам покуда,
Добра ты мало сделал, больше сделал худа,
Но мы пришли к тебе с надеждою на чудо,
Чтоб ты не мог о человечности забыть.

Эй, Пери, поспеши с вопросом откровенным,
Есть ли изъян в твоем искусстве совершенном,
Ты рвешься на зурне сыграть в сем мире бренном...
Что ж, на том свете и сыграешь, может быть.

2

Когда из Чанагчи в дорогу я пустилась,
Она измучила меня, явив немилость.
И вспыхнула вражда, и жертва появилась,
И слезы хлынули, которых не унять.

Настигло горе меня, к сердцу подступило,
В слезах приехала я в Тагаверд, не в силах
Скрывать свою любовь, мне все постыло,
Коса растрепана, я вся в слезах опять.

И королева моя скрылась, убежала,
Я сломлена, нет сил совсем, устала.
Она ушла, а мне еще больнее стало,
Все онемели, чтобы громче мне рыдать.

Кровавыми слезами плачет горько Пери,
Ей истерзала грудь слепая боль потери,
Мой соловей умолк, сады своё отпели,
Завяли в них цветы – ну как мне не рыдать?

ХУРШИДБАНУ НАТАВАН

(1832 – 1897)

Дочь последнего гарабахского хана Хуршидбану писала под псевдонимом Натаван. Она организовала в Шуше литературный салон «Меджлиси-Унс», куда были вхожи как мужчины, так и женщины. Любопытно, что приезжавший на Кавказ Александр Дюма в 1858 году встретился с поэтессой Хуршидбану в Баку. Об этой встрече он написал в своей книге «Кавказ». Азербайджанская поэтесса преподнесла французскому писателю свое рукоделье, а тот подарил ей резные шахматы. Ставшие известными еще при жизни, ее лирические стихи впервые были изданы лишь в 1928 году.

Гвоздика

Кто выгоды не ищет, полюбя, гвоздика?
Безумно влюблена в тебя, гвоздика!

Увидела расстроенной тебя,
Ах, той же страсти ты раба, гвоздика.

Печальна оттого, что у цветов
Такая ж смута и борьба, гвоздика.

Жаль, что цветник увянет, что краса
Пройдет – такая уж судьба, гвоздика.

Сними завесу нежную с лица,
В тебя влюбленных не губя, гвоздика.

ФАТМА-ХАНЫМ КАМИНЕ

(1841 – 1898)

Фатма ханым Камине была дочерью гарабахского поэта Мирзы Бейбабы, родилась и жила в Шуше. Она с успехом участвовала в поэтических меджлисах и нашла признание как одна из самых ярких поэтесс Востока. Некоторые исследователи называют ее третьей по значению среди поэтесс Гарабаха.

Огонь разлуки иссушил и сжег меня дотла,
Несчастий тьма меня, мой Бог, до края довела.

Терпенье мое видя, грозный рок рассвирипел,
В меня направив еще больше страшных стрел.

Со всех сторон врагов нападки, не осталось сил,
Терпенью моему конец, похоже, наступил.

Судьбою злобною разрушен милый мой очаг,
Я стала притчей во языцех, и ликует враг.

Кричат мне птицы сердца, лишь на кудри я взгляну,
Что снова я у черных завитков его в плену.

О, боже, ты избавь от одержимости меня,
И опусти на землю, в мир, где нет любви огня,

Где не боялась Камине людей, верни туда,
Где не была б я скована любовью навсегда.

АШУГ БАСТИ

(1836 – 1936)

Ашуг Басти – одна из известнейших женщин-ашугов. Она рано научилась играть на сазе, участвовала в ашугских меджлисах. Жизнь ее была полна испытаний. Трагической стала её любовь к юному пастуху – Ханчобану, который на ее глазах был убит хозяином-беком. После этого родители Басти несколько раз пытались выдать дочку замуж, но она так и осталась одинока, всецело посвятив себя творчеству. Еще ее называли «Слепая Басти». По одной из легенд, она ослепла оттого, что долго оплакивала возлюбленного. В конце жизни Басти вернулась в родное село, где умерла в возрасте 100 лет.

Среди азербайджанских женщин-ашугов Басти была очень известна благодаря своим поездкам по Азербайджану, во время которых она состязалась с ашугами-мужчинами. Писала Басти ашугские стихи в жанрах баяты, герайлы, гошма и агы, имела много учеников и последователей.

1

На кровавой рубахе любимого рдяно
Маки вдруг зацвели и горят непрестанно.
Кто услышать мне даст моего Ханчобана,
Всей душой отплачу неземному добру.

Мое горе легендой и притчею стало,
И всю душу мою той бедой истерзало.
А могилу любимого здесь навещало
Маков множество, жарко клонясь на ветру.

За тобою пойду я путем непреклонным,
Как газель, оглашу его жалобным стоном.
Если маки уйдут, увядая по склонам,
С этих гор, то Басти говорит: я умру.

2

Я умоляю, дорогой отец,
Услышь мои стенанья наконец,
Не отправляй меня насильно под венец,
Не отдавай, прошу тебя, чужому,
Меня не выпроваживай из дому.

Вставать я стану рано поутру,
Тандир я разожгу, дом уберу,
Пойду пахать – и парню нос утру.
Ах, тетя, не толкай меня к худому,
Меня не выпроваживай из дому.

Недаром имя у меня Басти,
Брат мой меня пытался извести,
Убить хотел, но цели не достиг.
Отец меня не признает своею,
Мне тяжело, но я роптать не смею.

Я в жертву принесла себя родне,
Я плачу, посочувствуйте же мне,
Моей пропащей жизни и весне.
Ах, мама, дочь не отдавай седому,
Меня не выпроваживай из дому.

Он пожилой, ему за пятьдесят,
Седые волосы в бровях его торчат,
Он груб и все слова его – как яд,
Ах, тетя, не толкай меня к такому,
Ах, мама, дочь не отдавай седому.

О, юноша, хоть имя назови,
Мне не изведать вкус твоей любви.
Еще ты влюбишься, но Бога не гневи,
И не толкай меня, как все, к такому.
Отец меня решил отдать седому.

Басти твердит: горю, спасенья нет,
Пусть имя бога будет мой обет,
Я выпила отравленный щербет.
Отец меня не признает своею,
Я погибаю, но роптать не смею.

ВИЛАЯТ ГУЛИЕВ

МИРЗА И ЭМИРЗАДЕ

Вспоминая академика Мирзу Ибрагимова

После того, как я прочел книгу известного ученого-историка Джамиля Гасанлы «Борьба за национальный язык в Азербайджане», еще больше возросло моё уважение к одному из основных участников событий, имевших место на идеологическом и духовном фронте в середине 50-х годов XX века – большому писателю, интеллигенту и общественно-политическому деятелю Мирзе Ибрагимову.

Естественно, мне было известно в общих чертах о борьбе Мирзы муаллима за предоставление азербайджанскому языку статуса государственного языка и всех сопутствующих прав, закрепленных в Основном законе республики – Конституции. Его книгу «Азербайджанский язык», вышедшую в 1957 году и считавшуюся первым проявлением «оттепели» в общественно-политической атмосфере в постсталинский период в условиях национальных окраин, – я прочел на одном дыхании. Но, по правде говоря, отложив в сторону общие впечатления и патриотические чувства, я не был тогда достаточно осведомлен о важности и значении феномена Мирзы Ибрагимова в борьбе за реальное – не на словах, а на деле – становление нашего родного языка как государственного, о глубинных причинах этого процесса.

До того как в результате удивительных жизненных поворотов судьба свела нас на совместной работе в Институте литературы имени Низами, я больше знал Мирзу муаллима по его книгам, по прессе, по его действительно производящей безграничное впечатление многогранной деятельности.

Первое, заочное наше знакомство произошло в мои школьные годы. Причем не только с Мирзой Ибрагимовым. Произведения основных представителей азербайджанской советской литературы, порой непопулярные в наши дни, но в действительности, целый ряд достоинств которых с точки зрения истинного искусства невозможно отрицать, были прочитаны мною в то время. Я читал и верил в искренность, гуманизм и правдивость нашей литературы. Быть может, чтоб не портить этого ощущения, чтоб не менять появившегося, наверное, под влиянием юношеского максимализма первого и доброго впечатления об этих произведениях, я в последующем не особо стремился рассматривать творчество многих представителей азербайджанской советской классики как профессиональный критик-литературовед в контексте мировой литературы и новых требований и принципов. Но должен признаться, что роман «Наступит день» остался в моей памяти как одно из самых сильных произведений, прочитанных в школьные годы. Этот роман произвел на меня неизгладимое впечатление.

В 1971-ом году, будучи студентом первого курса филологического факультета университета, я впервые увидел Мирзу муаллима, что называется, воочию. Встреча с известным юбиляром на вечере, проводимом в связи с 60-летием со дня его рождения, происходила, если мне не изменяет память, в Азербайджанском драматическом театре. В то время мы – будущие филологи, начинающие поэты, прозаики и критики – не пропускали ни одного такого мероприятия. Мы готовы были горы свернуть, чтобы достать пригласительные на эти вечера. В особенности когда речь шла о встречах с такими живыми классиками, как Мирза Ибрагимов...

С того литературного вечера минули десятилетия, и я уже могу не вспомнить многого, что там происходило. Я не могу точно вспомнить всех выступавших и всего того, что они говорили о Мирзе муаллиме. Но никак не уходит из памяти и по сей час стоит перед глазами заполненный «под завязку» зал. Быть может, я смог бы найти определенную информацию, полистав прессу за 1971 год. Но самым запоминающимся было выступление самого юбиляра. А то, что он говорил, навсегда отчеканилось в моей памяти.

Это выступление чуть было полностью не изменило мое представление о Мирзе Ибрагимове, которого я считал одним из самых колоритных и притягательных представителей современной азербайджанской прозы. Услышанная мною из уст писателя история, связанная с одним случаем из его жизни, чуть не послужила для меня, как говорится, причиной разбитой мечты.

Хочется отметить, что 60–летний Мирза Ибрагимов был видным мужчиной с очень достойной и располагающей к себе внешностью. Он был одет современно и со вкусом. Волосы с легкой проседью были аккуратно зачесаны назад. В его поведении чувствовалась уверенность в себе, в своем авторитете и в своей силе. Несмотря на то, что говорил он мягким, приятным слуху голосом, невозможно было не почувствовать твердость и категоричность в его словах. В сущности, он имел на это моральное право. 40 из 60 лет своей жизни он постоянно находился в центре событий. Действительно, для одной человеческой жизни он совершил великие, огромные дела, и вписал свое имя в анналы истории. В 34 года он стал одним из первых пятнадцати действительных членов Академии наук Азербайджана. Позже был награжден Сталинской премией. В сравнительно молодом возрасте являлся членом правительства Азербайджана, в статусе министра руководил такой важной и стратегической областью, как образование. Занимал пост председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР – формального президента страны. К тому же своими смелыми, национально направленными шагами он дал понять, что не намерен оставаться просто символически президентом в замкнутых границах доверенной ему сферы деятельности. Долгие годы Мирза муаллим являлся председателем Союза писателей Азербайджана, который даже в условиях Советского Союза оставлял впечатление не очень спокойного места. Многократно избирался в республиканский и общесоюзный парламенты. Он был хорошо известен и снискал глубокое уважение как в нашей стране и в бывшем Советском Союзе, так и за пределами СССР за свою гуманитарную и интеллектуальную деятельность. Прозаик, драматург, публицист, переводчик и литературовед – вот ипостаси его многогранной и плодотворной литературной деятельности. Занимая высокие посты и являясь действительно убежденным коммунистом, он никогда не терял своего единства с родным народом и с родной землей. Даже с началом хрущевского волюнтаризма он не отступил с переднего края сложной и неравной борьбы за признание нашего родного языка государственным. Своим творчеством и общественно-политической деятельностью он стремился служить нации, национальным целям и идеям, и даже зная о возможных трудностях и лишениях, которые это могло повлечь за собой – в решающие моменты он, вместо того чтобы промолчать, всегда предпочитал открыто высказать свое мнение.

Он нашел путь к сердцам людей не из-за того, что занимал руководящие должности с молодых лет, не из-за того, что, как говорится, держался за подол больших людей, а благодаря своей привязанности к народу и качествам борца, своей чистоте, благородству и великодушию, и верности чувству справедливости. Конечно, он и сам понимал это. Слава не опьянила его, но то, что он знал об уважении к себе среди простых людей, и его удовлетворение своим образом жизни бросалось в глаза. Он отличался тем, что стоял на голову выше большинства из окружавших его людей. Это – качество свойственное сильным личностям.

Рассказанная в тот памятный вечер Мирзой муаллимом история напомнила мне повесть нашего известного прозаика Таги Шахбази «Ножницы». Наверное, все, кто закан-

чивал среднюю школу на родном языке, помнят историю о том, как безжалостный, жестокий Мешади Салман в наказание за потерю ножниц бросил нашедшего пристанище в его доме и прислуживавшего ему восьмилетнего Мохаммеда в горящий тандир. Я еще раз поверил в правдивость сюжета и жизненность этого рассказа на примере стоявшего перед нами Мирзы Ибрагимова. Оказывается, похожий случай произошел полвека назад с девятилетним Мирзой, в то время работавшим в доме одного из состоятельных жителей поселка Забрат. Конечно, его не бросали в горящий тандир, как маленького Мохаммеда. Просто гуси, которых он должен был стеречь, забрели в лужу кира (кир – расплавленный асфальт для покрытия крыш), и их «одежка» из перьев и пуха пришла в негодность, за что одинокого ребенка вначале высекли, а затем с одним только старым потрепанным одеялом посреди ночи выбросили на улицу на зимний холод.

В принципе, нет большой разницы между тем, сгоришь ли ты в тандире или замерзнешь от холода. Для одинокого ребенка безо всякой поддержки, который может обратиться за помощью и защитой только ко Всевышнему, быть выгнанным из дома в морозный зимний день было равносильно смерти.

Но Мирза, как и маленький герой рассказа «Ножницы», не погиб, выжил. Советская власть взяла его под свою опеку. В детском доме он нашел заботу и поддержку. Он не стал, как Мохаммед, обращаться к писарю для того, чтоб написать письмо к превратившим его жизнь в ад Мешади Салманам. Уже с ранних лет он сам старался справляться со своими бедами и печалями. Он работал на нефтепромысле и учился в фабрично-заводском училище – ФЗУ. Бесстрашное преодоление трудностей скоро принесло свои плоды. Уже в 23 года он был направлен на свою первую руководящую работу. Умный, способный и трудолюбивый, он до конца своих дней продолжал трудиться. Неизменно находился в центре происходящих в обществе событий, в авангарде, у всех на виду. В возрасте, когда современная молодежь заканчивает свое высшее образование, в 24 года, состоялась постановка его первой пьесы «Жизнь», вызвавшей широкий резонанс в обществе. Ну, а для него она послужила путевкой в большую жизнь, настежь распахнув перед молодым автором многие заветные двери. По окончании аспирантуры в Ленинграде он защитил важную, значительную научную работу. Написанное им исследование о творчестве и общественной деятельности Джалила Мамедгулузаде, позднее изданное в виде монографии под названием «Великий демократ», для того времени было значимым шагом с точки зрения общей оценки литературной школы журнала «Молла Насреддин».

Одним словом, за короткое время Мирза Ибрагимов занял достойное место как в политической, так и в литературно-культурной элите страны.

И всего этого он достиг исключительно благодаря своему интеллекту, знаниям и трудолюбию. Мирза муаллим на своем примере еще раз показал возможность «Хеппи Энда» – счастливого финала – не только в сказках, но и в реальной жизни.

…Далее юбиляр рассказал вот что. В один из обычных рабочих дней он находился в служебном кабинете, исполняя свои обязанности министра просвещения, когда вошедшая к нему секретарша, русская по национальности, не знавшая многих подробностей его биографии, доложила: «Мирза Аждарович, пришли ваши мать с сестрой, они ждут в приемной. Хотят вас видеть». Мирза муаллим, естественно, вздрогнул от неожиданности. Потому что и мать, и сестру он потерял в очень раннем возрасте.

Все говорило о том, что произошло какое-то недоразумение. Он отослал секретаршу обратно, для того чтоб разобраться в ситуации. Вернувшаяся через несколько минут девушка добавила на этот раз, что «мать» и «сестра» приехали из поселка Забрат.

Поняв теперь, в чем тут дело, Мирза муаллим пригласил «родственников» зайти. Женщина, которая когда-то из-за гусей, случайно забредших в кир, холодным зимним вечером отхлестала его прутом для взбивания шерсти, а затем выгнала на улицу, сейчас вначале на мгновение растерялась, войдя в этот высокий кабинет и увидев его предста-

вительного хозяина. Затем подошла и обняла Мирзу муаллима за шею. При этом она не забыла слегка прослезиться. Указав на молодую девушку рядом с собой, она безо всякого стеснения и смущения заявила: «Это твоя сестра. Я привела ее, чтоб она знала своего брата, имя которого до сегодняшнего дня она только слышала, чтобы своими глазами увидела, на какие высоты он поднялся». В действительности же через некоторое время стало ясно, что и «мать», и окончившая университет «сестра» заявились к нему по прошествии стольких лет не просто для того, чтобы повидать высокопоставленного «родственника». Они пришли с просьбой, исполнение которой было в пределах его должностных полномочий и его возможностей.

Естественно, до этого момента я всей душой был с Мирзой муаллимом. Как поучительный жизненный пример, как еще одно свидетельство победы добра и справедливости над злом, этот приход к нему жестокой «матери» в качестве просительницы – я считал его торжеством. Я радовался победе того, кто когда-то считался слабым, над сильным, восстановлению справедливости. К тому же, вспомнив народную мудрость о том, что ответить добром на добро может каждый мужчина, но ответить добром на зло способен лишь настоящий – я ждал, что Мирза муаллим своим великодушием и достоинством морально устыдит наглых, изворотливых «родственничков».

Но от его слов: «Когда ты в зимний день, избив, выгнала меня из дому, я не был твоим сыном, а сейчас вдруг стал им?», – высказанных им пожилой, старой женщине, быть может, пришедшей к нему после тысячи колебаний и сомнений, от демонстрации им своего превосходства – мне почему-то стало не по себе… Наверное, это явилось результатом присущего молодости романтизма, а, с другой стороны, того, что очень многие вещи в жизни мне все еще представлялись в розовом цвете. Именно под влиянием этих чувств я ожидал от Мирзы муаллима, что в описанной ситуации он на зло ответит добром. Я ждал, что он забудет плохое и поступит мягко и снисходительно как в отношении той молодой девушки, вины которой в этой истории никакой не было, так и в отношении женщины, скорее всего, из острой нужды обратившейся за помощью к человеку, с которым когда-то она обошлась, мягко говоря, очень плохо. Но он, вопреки моим романтическим представлениям и ожиданиям, предпочел представить нам суровое лицо правды, как она есть.

Думается, при желании Мирза муаллим мог бы по прошествии стольких десятилетий несколько иначе описать финал этой истории, у которой не было никаких свидетелей, выставляя себя в образе более благородном и великодушном. Он мог и не рассказывать о том, что в лицо обвинил нанесшую ему в прошлом глубокую, незаживающую рану женщину, оказавшуюся в незавидном положении. Но, видно, так же, как и в творчестве, в повседневной жизни преданность истине была для него в его мировоззрении превыше всего.

Через некоторое время я и сам, как говорится, прошел через многие трудности в жизни, набрался определенного опыта и понял, что жизнь состоит не из одного лишь розового цвета. Я осознал необходимость никогда не забывать не только хорошее, но и плохое. Я понял, что, чем скрывать правду, причиняя тем самым себе боль и страдания, чем грустить и терзаться, правильнее в нужный, подходящий момент посадить на место плохого человека, будь то женщина или мужчина, более того, это необходимо с точки зрения интересов общества.

Но я должен также добавить, что, несмотря на то, что Мирза муаллим высказал так называемой «матери» слова, столько лет терзавшие ему душу и сердце, он не остался безучастным к делам своей «сестры». Как мог, помогал ей. Я помню, что, когда разговор дошел до этого момента, зал разразился бурными аплодисментами. Будучи тонким психологом, Мирза муаллим одним только этим штрихом вновь возвысился в наших глазах, в глазах таких же молодых людей, как и я, минутами ранее посчитавших его «жестоким и безжалостным», снова стал нашим героем.

***

В разрушении моих ложных, в чем-то наивных представлений большую роль сыграли не только произведения Мирзы муаллима, но и сама его цельная личность, его внутренняя культура и человечность. А после появления возможности личного общения с ним, я, наблюдая Мирзу Аждаровича на высоких должностях, в президиумах всевозможных собраний и заседаний, на личном опыте убедился в необычайной скромности и искренности этого человека, еще сильнее ощутил его неразрывную связь с народом. Я близко узнал этого видного представителя современной азербайджанской литературы как человека и гражданина. В том, что я питаю глубокое уважение к его личности, публицистика писателя имела не меньшее значение, чем его драматические и прозаические произведения.

В мои студенческие годы в Ясамальском районе Баку располагался филиал университетской библиотеки. Иногда его называли Фондом восточной книги. В фонде наряду с недоступными для нас, студентов, многочисленными изданиями, также хранились комплекты выходивших в Южном Азербайджане в 1945-1946 годах газет и журналов «За Родину». И сегодня в моей памяти остались ощущаемые почти физически боль и горечь потерь, когда сгорели при пожаре напечатанные в этих изданиях работы Мирзы муаллима по иранской теме, отражающие в себе горькие и гордые впечатления, трагические страницы новейшего исторического прошлого, страдания и боль народа. Я не знаю, попали или нет эти работы в 10-томное собрание сочинений писателя. В то же время я не могу припомнить других примеров существующих литературно-публицистических произведений, в той же степени ярко и остро отражающих дискриминацию и унижения человеческого достоинства и традиций, национального самосознания и языка, которым подвергаются наши соотечественники в Южном Азербайджане со стороны персидских шовинистов.

Краткое, но напряженное и интересное время, проведенное им на родине своих предков в Южном Азербайджане в период второй мировой войны, оставило неизгладимый след в жизни Мирзы Ибрагимова как писателя и общественно-политического деятеля. Эти месяцы породили такое произведение, как «Наступит день», и серию работ, которые можно условно назвать «Иранской публицистикой». Эти месяцы дали ему стимул для продолжения на севере неудавшейся на юге борьбы за национальный, азербайджанский язык. Они сыграли решающую роль в появлении на свет таких заслуживающих внимания в его творческой жизни работ, как многотомник «Антология литературы Южного Азербайджана» и «История литературы Южного Азербайджана».

Мирза Ибрагимов вошел в историю литературы Азербайджана XX века как прозаик, драматург, переводчик, критик-литературовед и публицист. В каждой из этих областей он создал незабываемые произведения, отвечавшие высоким требованиям своего времени и жанра. Каждое его произведение, независимо от жанра, отличалось новаторским духом, смелой авторской позицией в постановке и решении проблем, и тесной связью с исторической судьбой народа. Появившаяся в период «расцвета» так называемого «большого террора» книга «Великий демократ», как я отмечал выше, послужила определенного рода щитом в плане защиты от злобных нападок личности и наследия Джалила Мамедгулузаде. Появившееся в «колыбели революции» – Ленинграде – как кандидатская диссертация, – это произведение в условиях идеологии сталинизма превратилось в индульгенцию для литературной школы журнала «Молла Насреддин» в целом. Переведенный на целый ряд языков народов мира роман «Наступит день» для сотен тысяч людей в различных странах стал важным источником информации об ужасных преступлениях персидского шовинизма, творимых по отношению к азербайджанским тюркам. В драме «Тлеющие очаги» впервые со всей эмоциональностью был создан новый образ государственного служащего, интеллигента, ведущего борьбу против больших сил ограниченными средствами и возможностями в период, когда и он сам, и его народ зажаты в тиски. В своем последнем большом произведении, которое, к сожалению, он не успел завершить, – в романе «Перванэ», автор

вновь возвращается к феномену Нариманова и создает живой, монументальный образ-панораму Азербайджана XIX века, вошедшего в систему новых общественных отношений.

В канун 600-летнего юбилея великого азербайджанского поэта средневековья Насими академик Мирза Ибрагимов также оппонировал попыткам наших туркменских братьев представить поэта классиком только лишь туркменской литературы, таким образом вырвав его из контекста обще-тюркской и исламской культуры. В 1973 году в Москве на обсуждении этого вопроса, проходившего с участием не только творческой интеллигенции, но и высшего партийного руководства страны, он с неоспоримой рассудительностью и находчивостью сумел доказать неправоту наших соседей и братьев, в то же время указывая на принадлежность азербайджанца Насими к общей тюрко-исламской и мировой культуре.

Одним словом, несмотря на меняющиеся на протяжении десятилетий идеологические линии и установки, Мирза Ибрагимов больше прислушивался к голосу своего сердца, нежели к требованиям его почетных званий и регалий. Никогда не теряя инстинкта самосохранения, он вместе с тем никогда не отступал в борьбе за счастье своего народа и его язык, за свои историю и культуру.

***

После 1980 года, принесшего мне более широкие возможности для общения в творческих кругах, мы стали чаще встречаться с Мирзой муаллимом на различных литературных и общественных мероприятиях. Временами он заходил в Институт литературы, где я был вначале аспирантом, а затем научным сотрудником. Принимал участие в заседаниях Научного совета или Совета по защитам. При возникновении острых споров, столкновении мнений его обоснованные, взвешенные выступления или меткие реплики мягко разряжали конфликтные ситуации. К тому же я никогда не видел, даже когда страсти накалялись во время таких диспутов, чтобы Мирза муаллим хоть раз повысил голос или попытался кого-либо заглушить.

…Несмотря на преклонный возраст и частые недомогания Мирза муаллим не остался в стороне также и в тот период, когда на повестку дня встала проблема нагорно-гарабахского конфликта и безосновательных территориальных претензий армян к Азербайджану. В этом вопросе он сделал все, что было в его силах, как депутат Верховного совета бывшего СССР, как хорошо известный во всесоюзном масштабе общественный деятель и творческая личность. В июне 1989 года в Кремле на встрече азербайджанской и армянской интеллигенции с сыгравшим большую негативную роль в бедствиях и несчастьях нашего народа М.Горбачевым, участие и выступление Мирзы муаллима стало, по-моему, его последним боем, быть может, его окончательным расставанием с семидесятилетним советским прошлым. Самым запоминающимся на этой встрече было то, что Мирза Ибрагимов, выучивший русский язык в возрасте двадцати лет, своим логическим мышлением и неопровержимостью приведенных им фактов заставил замолчать известного мастера «красноречивой» демагогии и безудержного болтуна-говоруна Горбачева.

***

…Последние двадцать лет прошлого века моя жизнь была связана с Институтом литературы имени Низами. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая те годы, я думаю, что мне и моим коллегам, вместе с которыми мы пришли в науку, очень повезло. Потому что в 70-80-х годах прошлого века для целого ряда известных представителей азербайджанской литературы и культуры это место было вторым домом, храмом науки, где звучали их голоса и мысли. И Мирза муаллим после почти сорокалетней разлуки вернулся в Институт.

В то время состав Института в значительной степени изменился. В различных отделах трудились новые молодые люди, либо пришедшие сюда через аспирантуру, либо вы-

бранные и принятые на работу. Естественно, что даже если Мирза муаллим и слышал о некоторых из них и встречал их имена в печати, – с большинством из них он лично знаком не был. С другой стороны, было немало ученых, с которыми он поддерживал общение на протяжении десятков лет, близко знал их лично. Быть может, для народного писателя, академика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии, в прошлом министра и государственного деятеля, находящегося на виду на протяжении всей своей жизни, ну и, наконец, уважаемого аксакала и живого классика – более приемлемым и удобным было бы общение лишь с близко знакомыми ему людьми, нисколько не сомневающимися в его благожелательном отношении к ним, а в общении с молодежью «сохранять» образ недосягаемого идеала.

Но Мирза муаллим не был бы Мирзой муаллимом, поведи он себя так! Не будем забывать, что время, когда он вернулся в Институт в качестве руководителя отдела, было также временем разрушения идолов и пренебрежения к уважению старших, к таким понятиям, как честь и достоинство, временем разгула пустой демагогии, временем бряцающих оружием хунвейбинов. Некоторые, особо не отличавшиеся ни своим трудолюбием, ни научными успехами, да и просто человечностью, пытались компенсировать свои, быть может, долгие годы тлевшие в них убогость и неполноценность путем опорочивания, унижения (естественно, на своем мелком, примитивном уровне мышления) действительно известных и уважаемых людей, реальных обладателей славы, уважения и почета. Если бы и Мирза муаллим в своей повседневной жизни, как многие в этих условиях, вел себя по принципу «*неблагородному, непорядочному говорите «здравствуйте» и проходите мимо*», держался бы над всеми и вся, – тогда, наверное, его слух был бы более спокоен и не слышал бы он ненужных и недостойных слов.

Но он, как в знаменитом стихотворении Лермонтова, будто искал покой в буре, – всегда хотел находиться среди людей.

Вспоминаю, как в один из тех дней некий далекий от науки и воспитанности горлопан остановил медленно направлявшегося к своему кабинету и с улыбкой на лице здоровавшегося с идущими ему навстречу людьми Мирзу муаллима и в грубой форме стал выспрашивать, сколько у него денег. Большой писатель и Человек с большой буквы, нисколько не изменившись в лице, сказал: «Молодой человек, считать деньги в чужих карманах – неприлично». Получив это назидательное наставление, нахал распалился еще больше и, перейдя уже в открытое хамство, выкрикнул: «Если вы не тратите деньги в эти тяжелые, сложные для народа дни, когда же вы будете их тратить?» Я помню, что, оттащив наглеца в сторону, мы принесли наши искренние извинения мастеру-аксакалу…

Совершенно ясно, что подобного рода попытки тупого экстремизма не могли оттолкнуть и отдалить Мирзу муаллима от молодежи. Напротив, несмотря на свой возраст, политическую позицию, направленность образа мышления, он неизменно выказывал свою готовность встретиться лицом к лицу с любым человеком и говорить на любые темы. Если он видел нас, собравшихся группой в коридоре и обсуждающих что-то, он не проходил мимо, просто кивнув головой. Он подходил и спрашивал, как у нас дела. Искренне интересовался нашими диссертациями, состоянием наших связей с прессой. Всегда предлагал свою помощь, свой совет.

В этот беспокойный, тревожный 1989 год, когда на глазах у нашего поколения, говоря поучительными словами Мирзы Джалила, «мир дрожал, вселенная переворачивалась», когда его возраст уже подходил к восьмому десятку, – наш мудрый аксакал Мирза Ибрагимов трудился на последней, быть может, наиболее приятной и близкой его сердцу, нужной и любимой работе в жизни. Он был руководителем отдела литературы Южного Азербайджана в Институте литературы имени Низами Академии наук. Он же был и инициатором создания самого отдела, а также утверждения должности секретаря Союза писателей по литературе Южного Азербайджана.

После решения организационных вопросов академик Мирза Ибрагимов начал определенную работу в направлении популяризации отдела (говоря современным языком – занялся его презентацией). С этой целью он сделал телефонный звонок председателю Комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана и получил один час эфирного времени. На передачу, которую вел он сам, Мирза муаллим пригласил актеров для чтения отрывков из различных художественных произведений, а также вместе с другими сотрудниками и меня как заместителя директора Института по научной работе.

По окончании очень интересной и живой программы мы все вместе вышли из здания телестудии. Когда мы подошли ко входу в Нагорный парк, Мирза муаллим попросил сотрудника отдела Назима Ризвана остановить ему такси.

– Не беспокойтесь, Мирза муаллим, – сказал я. – У меня есть машина. Куда вам нужно, скажите, я могу вас отвезти.

– Куда, кроме дома, может пойти человек в моем возрасте? – сказав это, Мирза муаллим весело взглянул на сотрудниц нашего отдела. Затем, повернувшись ко мне, он спросил: «Ты что, взял машину у своего руководителя?» Узнав, что у меня собственная машина, он мягко улыбнулся: «Машина Яшара вряд ли доставит пассажира по адресу».

Некоторое время назад директору Института Яшару Гараеву был выделен служебный автомобиль. Несмотря на то, что это была «Волга», слово «автомобиль» применительно к этому транспортному средству звучало слишком торжественно. Половину рабочей недели машина находилась в ремонте. При движении она издавала ужасный грохот, казалось, что вот-вот она развалится, и все ее детали покатятся в разные стороны. Как будто ее доставили не из гаража Академии, а из какого-то пункта по сбору металлолома. Естественно, в том, что Институту выделили такую машину, не было никакой вины покойного Яшара муаллима. Либо отношение к науке было таким, либо это было все, что имелось у нас в наличии…

Мирза муаллим начал говорить, что не хотел бы утруждать меня, но затем согласился. Когда я из уважения и вежливости хотел открыть ему заднюю дверь моих «Жигулей», он запротестовал: «Нет-нет, – сказал он, – я сяду впереди, рядом с тобой. Ты не шофер, а я не руководитель учреждения». Затем он косвенно указал на мою невнимательность. «Ну, раз ты отвозишь домой меня, тогда, будь добр, развези по домам и наших сотрудниц», – сказал он и пригласил в машину стоявших рядом Эльмиру Ахундову (сейчас известный общественный деятель и публицист, депутат Милли Меджлиса) и Рафигу Гасымову. Сопровождаемый осторожными взглядами моего всемирно известного пассажира, я повел машину и обратил внимание, что он краем глаза наблюдает за мной. Но, убедившись, что вожу машину я неплохо, успокоился и стал беседовать с нашими сотрудницами.

Я помню, что в тот день Мирза муаллим не согласился, чтобы его доставили домой первым. Он предложил вначале развезти по домам наших пассажирок. По пути он почему-то не продолжил наш сегодняшний телеразговор о проблемах юга, а больше говорил о событиях 1950-х годов, о трагедии академика Гейдара Гусейнова и связанном с этим взыскании, полученном им от Мир-Джафара Багирова.

Сказав, что хочет навестить внука, он попросил меня остановить машину на улице Узеира Гаджибекова, перед зданием кооператива «Писатель». Он не позволил мне выйти и открыть ему дверь. Похлопав меня по колену, сказал: «Талантливый человек талантлив во всем, по твоему вождению я понял, что и это занятие ты освоил неплохо».

– Мирза муаллим, ну, если на то пошло, то вы тогда должны уметь управлять самолетом, – шутя сказал я. – К тому же, слава Богу, у вас никогда не было необходимости самому водить машину. С молодых лет вы занимали высокие должности, и у вас всегда были персональные машины и водители.

– Нет. В те времена было не так много автомобилей, как ты думаешь. Ну, а позже не представлялось возможности научиться вождению. А вообще, умение управлять авто-

мобилем тоже является одной из свобод. Ты ни от кого не зависишь. Можешь сам ездить туда, куда тебе хочется…

Мне показалось тогда, что в эти минуты он вспомнил потерянные возможности молодости, времена, когда вопреки своим желаниям он не мог быть полностью свободным и независимым…

Есть у меня и еще одно светлое и поучительное воспоминание, связанное с теми годами работы в Академии.

Так как отдел литературы Южного Азербайджана был сформирован сравнительно поздно, он находился не как остальные структуры Института – на пятом этаже, а на выделенном для полиграфическо-издательского управления Академии четвертом этаже здания. У отдела была всего одна комната, и академик Мирза Ибрагимов, с тридцатилетнего возраста занимавщий самые большие кабинеты, работал в этой комнате вместе со всеми своими сотрудниками.

Как-то мне позвонила сотрудница отдела Эльмира ханым и сказала, что Мирза муаллим хотел бы поговорить со мной. Через минуту в трубке послышался мягкий, но уверенный голос Мирзы муаллима. Мы поздоровались, и он сказал, что нам нужно встретиться для того, чтобы внести ясность в некоторые вопросы, связанные с очередным томом антологии литературы Южного Азербайджана, над которой работал отдел, и спросил, когда у меня будет свободное время.

– Мирза муаллим, к чему это беспокойство? – действительно удивился я. – Через пять минут я спущусь вниз, к вам в кабинет.

Но мой собеседник как будто не услышал моих слов:

– Хорошо, тогда договорились, встречаемся завтра в 12 часов, – сказал он.

По не принимающему возражений тону Мирзы муаллима я понял, что для выражения почтения к живому корифею нашей литературы, академику, аксакалу было бы не к месту идти к нему сейчас.

На следующий день, точно в договоренное время, Мирза муаллим пришел ко мне в кабинет. Мы детально обсудили вопросы, связанные с изданием очередного тома антологии, определили необходимые для этого действия. После того, как мы закончили обсуждать дела, он, вернувшись к нашему вчерашнему разговору, сказал:

– Я знаю, насколько ты меня уважаешь. И вообще мне нравится молодежь Института. Она и хорошо воспитана, и хорошо образованна. Есть, конечно, пара пустозвонов, людей, которые сами не знают, не понимают, что говорят, но остальные уважают старших, аксакалов. И ты тоже молод. Наверное, много времени вы проводите вместе. Но ты не должен забывать, что ты занимаешь в Институте руководящую должность. И еще запомни, что для должности нет старшего и младшего. Сегодня ты здесь, а завтра можешь быть занят в другом, более важном деле. Главное – выйти на тропу. Я сам прошел через все это. Если бы вчера после нашего телефонного разговора ты спустился бы к нам в комнату, – никто конечно же, не истолковал бы это превратно. Но я не мог согласиться с этим. Потому что всегда нужно соблюдать субординацию. Руководитель должен руководить. Причем, окружающие, независимо от возраста и репутации, должны знать и уважать это. Есть такое русское слово – «панибратство». Я не могу найти его эквивалент на нашем языке. Но, наверное, ты понимаешь его значение. Занимаясь серьезным делом, нельзя допускать панибратства. В противном случае все перепутается, станет с ног на голову, потеряется смысл. И тебе я бы посоветовал: в стенах, в пределах Института всегда соблюдай официальные отношения со своими сверстниками. Что вы делаете после работы, чем занимаетесь, – это другое дело. Но здесь, в Институте, каждый должен знать и принимать тебя как второго человека в Институте, как руководителя.

В то время мое будущее в плане должностного и карьерного роста в лучшем случае представлялось мне в качестве не играющего такую уж важную административную и фор-

мальную роль поста директора Института. Позже, когда по странной прихоти судьбы я занимал должность руководителя одного из важных министерств нашего, уже независимого государства, к тому же работая под руководством такой великой личности и выдающегося государственного деятеля как покойный Гейдар Алиев, я неоднократно вспоминал это, кажущееся на первый взгляд простым, наставление Мирзы муаллима...

***

Большая часть жизни и деятельности Народного писателя Мирзы Ибрагимова была связана с Союзом писателей Азербайджана. Начиная с 1934 года, со времени образования этой творческой организации, и до последних дней своей жизни он принимал самое активное участие в ее деятельности как в Баку, так и на общесоюзном уровне. Неудивительно, что у каждого из членов Союза старшего и среднего поколений есть воспоминания, связанные с Мирзой муаллимом.

Своими глазами не видел, своими ушами не слышал. Но говорят, что в определенный период его руководства Союзом писателей на одном из заседаний Союза некоторые его товарищи по перу обрушились на него с критикой, выражая недовольство методами его работы. Сидящий в президиуме председатель внимательно слушает выступающих, делает пометки в блокноте и время от времени что-то кладет себе в рот. Наблюдавший за этим со своего места народный писатель Байрам Байрамов (говорят, что в то время их отношения были прохладными, и Байрам муаллим пришел к решению, воспользовавшись создавшимся положением, первым протянуть руку для примирения…) берет слово и поднимается на трибуну. Обращаясь к коллегам, он говорит:

– Товарищи, нам нельзя быть такими жестокими по отношению друг к другу. Выходящие на эту трибуну к месту и не к месту критикуют Мирзу муаллима. Но никто не обращает внимания на то, что он сейчас чувствует, что переживает. Так нельзя! Мы люди литературы. Мы даем уроки великодушия и чуткости другим. Мы должны также уметь относиться с чуткостью и друг к другу. Некоторое время я наблюдаю за происходящим. Вы все говорите, часто несправедливые слова, а Мирза муаллим одну за другой кладет под язык таблетки валидола…

Улыбнувшись, Мирза муаллим прерывает товарища по перу и, раскрыв ладонь, показывает всем этот «валидол»:

– Не волнуйся, Байрам, время от времени я ем кишмиш.

С чего вдруг я вспомнил этот эпизод?

Рассказанная история может быть и просто притчей, но она точно отражает присущую характеру Мирзы Ибрагимова силу воли, умение не отступать перед трудностями, сохранять бойцовый настрой и оптимизм. И еще говорит о его искусстве всегда разбавить горечь сладостью в любых ситуациях, начиная с мелких случайностей, до самых серьезных вопросов. В противном случае было бы невозможно стойко, не сгибаясь, прожить долгую жизнь, не потеряв при этом любви к жизни и веру в людей.

А свидетелем другого случая был я сам. В клубе «Натаван» Союза писателей проходило очередное собрание. Атмосфера и настроение в зале были не из приятных. Несмотря на мое новое вхождение в писательскую среду, я знал об имеющей место напряженности между литературными поколениями. Говоря точнее, и молодое, и старшее поколения временами относились к творчеству друг друга с чувством неодобрения и ревизионизма. И на том собрании, о котором я рассказываю, явно слышалось это взаимное недовольство. Председательствующий на собрании Мирза Ибрагимов, быть может, считая более беззащитными позиции своих коллег, принадлежавших к представляемому им литературному поколению, встал на их сторону. Но в то же время он не хотел обидеть сыновей друзей по перу, вместе с которыми он прошел творческий путь, не хотел обидеть их детей, отличающихся не только своим талантом, но и избалованностью; решил убежде-

нием призвать к миру, своим авторитетом аксакала устранить и забыть недоразумение.

– Анар, Эльчин, Юсиф, все вы мне как сыновья. Ваши отцы были моими друзьями. Вы выросли у меня на глазах. Я был свидетелем того, как вы пришли в литературу. Ваши успехи всегда радовали меня, – обратился он к этим популярным мастерам пера, не менее известным, чем их отцы.

Сидевший где-то рядом со мной писатель Сейран Сахавет, как бы жалуясь самому себе, тихим голосом, слышным только сидящим рядом, озвучил реплику:

– Ну, а что же теперь делать нам, несчастным, у кого отцы не были писателями? Где же нам искать себе именитых отцов?

Естественно, сидевший в президиуме Мирза муаллим не мог слышать сказанных в задних рядах, к тому же тихим голосом, слов. Но, видимо, каким-то шестым чувством он ощутил небольшую волну обиды, прокатившуюся по залу. И его реакция была мгновенной и адекватной. Он мастерски упредил возникновение повода для какого-либо недовольства.

– Все представители молодежи, собравшиеся здесь, – все вы для меня как мои дети, – сказал он. – Мои двери всегда открыты для всех вас. Я не делаю разницы между вами и моими собственными детьми. Если вам есть, что сказать, или у вас какие-то трудности, – давайте говорить, обсуждать это. Вместе все обдумав, мы найдем выход. Важно, чтоб между нами не оставалось никаких неясностей.

Эта мгновенная реакция явилась еще одним фактором того, почему Мирза муаллим всегда был на виду, фактором его литературного и политического долгожительства.

***

Мирза муаллим пришел в этот мир в сложные времена (в пору заката царства Гаджара) на юге Азербайджана – в небольшой деревне рядом с городом Сараб. Точь-в-точь в такое же сложное время (во время распада СССР и мучительного рождения нашей государственной независимости) он ушел из этой жизни в Баку – на севере Азербайджана. Но между этими двумя тревожными и запутанными периодами времени он прожил яркую, полезную и плодотворную жизнь творческого человека, обладающего ясными целями и четкими намерениями, нацеленного на служение народу и его культуре. Он стоял на страже нашего родного азербайджанского языка и нашей культуры. Он многое сделал для сближения юга и севера Азербайджана, для сохранения и укрепления единства мыслей и намерений нашего народа. И никогда не сворачивал с этого пути.

Наверное, его родители, надеясь, что в будущем он станет образованным и умным человеком, назвали его Мирза. Слово «мирза» – арабского происхождения, на фарси имеет два значения. Когда его ставят перед именем (Мирза Фатали, Мирза Джалил), – это означает «умный, образованный человек», а использование же его после имени (Бахман Мирза, Хосров Мирза) – имеет значение «принадлежащий к благородному роду, рожденный эмиром, эмирзаде». Величие и счастье Мирзы муаллима заключалось в том, что он смог объединить оба эти значения своего имени на своем личностном, творческом и жизненном пути.

Всю свою жизнь он являлся как гласом своего народа – его *мирзой*, так и его достойным представителем, – смог стать избранной личностью, *эмирзаде*. И до конца своих дней достойно пронес груз этих двух высоких степеней и понятий.

Перевод ХАНЛАРА

26 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

Ходжалы

Казалось бы, годы промчались
С той, канувшей в Лету, поры,
Но в сердце, полном печали,
Болят и болят Ходжалы.

Февраль. Стужа. Двадцать шестое.
Трупы на белом снегу.
Кто мог сотворить такое,
Представить никак не могу.

Женщины, малые дети
В кровавом снегу лежат.
Над вакханалией смерти
Черные птицы кружат.

Тонкая корочка наледи
Не скроет кровавый разгул.
Разве вы люди?! Нелюди!
Вы перед всеми в долгу

За то, что безвинные души
Губили в запале дурном,
В зимних горах завьюженных
По трупам идя напролом.

По умершим не умолкнет
В наших сердцах набат.
Каждый стрелявший там – проклят,
Каждый погибший там – свят.

И память не заживает,
Раною свежей болит.
Спустя столько лет рыдают
В сердце моем Ходжалы.

МАРИНА МУРСАЛОВА

Я буду ждать тебя вечно

Рассказ

Прекратить войны?!
Да разве это мыслимо?
Язва мира неизлечима.

А.Барбюс «Огонь»

… На остановке напротив прощались влюбленные. Парень в военной форме, высокий, красивый, улыбчивый, все пытался заглянуть в глаза девушке. Она упорно отворачивалась, пряча заплаканные глаза. Когда подъехавший автобус подобрал последних пассажиров и остановка опустела, парень осмелел: привлек к себе девушку, порывисто прижал ее голову к груди. Та встрепенулась было, но потом затихла, закрыла глаза, и стояли они так долго, пока из-за поворота не вынырнул очередной автобус. Лицо парня погрустнело, видимо, это была сцена расставания. Девушка резко отстранилась, смущенно поправила челку, оглядываясь на вышедших пассажиров, которые, не скрывая любопытства, шеи свернули, глядя на столь колоритную парочку: солдат и его невеста. Такая картина вот уже 25 лет вызывает у всех острое чувство сопереживания, беспокойства за судьбу новобранца. Этот полузамороженный карабахский конфликт время от времени забирает лучших сынов, и никто не в силах предсказать судьбу сегодняшнего военного в этой стране…

Женщина с мальчиком лет двенадцати, отчитывающая его за что-то, увидев пару, запнулась на полуслове и, остановившись на светофоре в ожидании зеленого сигнала, начала зачем-то отряхивать на сыне куртку. А потом улыбнулась и потрепала по голове: простила, поняла, что его невинные шалости, пока он еще мал и при ней неотрывно, не стоят нервов.

Девушка и парень что-то горячо обсуждали, вернее, говорил он, а девушка все так же непрерывно плакала. Наконец он как-то неловко пожал ей руку и вспрыгнул на подножку отъезжающего автобуса, а она развернулась и, опустив плечи, побрела в сторону перехода, тяжело ступая…

***

…Наблюдавшая эту трогательную картину с шестого этажа женщина, конечно, не могла расслышать слов диалога, хотя догадаться было несложно: парень после окончания универа на год уходил в армию. Он обещал беречь себя и часто появляться в городе, чтобы видеть свою возлюбленную. Они даже не обручены, поэтому ездить к нему она не сможет. «Всего год – это же так мало», – улыбался он. «Ты вернешься – и тебя женят», – плакала девушка. «Глупая, я же тебя люблю», «Я буду ждать тебя», «Я обязательно вернусь»…

…В дверь робко постучали. Виттолина Викторовна оторвалась от окна, поправила сползший с плеча платок и пошла открывать. На пороге стояла Севиль – соседка, живущая этажом ниже, беженка из Ходжалы. Они вселились в бывшую армянскую квартиру три года назад. Севиль была хорошей женщиной, в отличие от некоторых соседей всегда здоровалась и, главное, при встрече всегда улыбалась. Эта ее какая-то блаженная улыбка на лице со следами былой красоты у некоторых соседей вызывала раздражение.

– Беженцы, – сплетничала как-то соседка на скамейке у подъезда, где по вечерам собирались женщины. – Что-то не заметно, что беженцы. Посмотри, как одеваются. На ее дубленку посмотри, а у Самеда киши пальто какое, да еще шляпу носит, как будто не сельский! Всю жизнь мечтали в городе жить, вот и подвернулся случай! Она говорила, сын их старший в банке работает, помогает. Вор, наверное. Иначе откуда у него такая машина!

– А что, беженцы не люди, по-твоему? – не выдержала другая, не понаслышке знавшая о бедах и мытарствах этих несчастных изгоев из сердца страны, Гарабаха. – Что, сельские все плохо живут, что ли? А Самед киши начальником в селе был, дом хороший, хозяйство, машина – и у них все отняли. Так и другие беженцы. Кто что смог вывезти – вывез, а остальное, нажитое годами, просто оставили и уехали – убегали от смерти! А дома в Гарабахе были у всех хорошие. Я в Шушу ездила – какая там красота, как богато люди жили, да и сами люди хорошие эти гарабахские…

– Гарабахские соловьи, – засмеялась третья. – Недаром их так зовут. Каждый второй – поэт или певец!

– Ты же знаешь, какая природа там! Запоешь поневоле! – соседки рассмеялись…

…– Салам, Вета, – как всегда, тихим голосом, поприветствовала ее улыбчивая соседка. – Позови сына.

– Севиль, заходи, не на пороге же разговаривать, – Вета пропустила соседку в прихожую и закрыла дверь. – Раздевайся, чай с нами попей.

– Нет, нет, – каждая из женщин говорила на своем языке: Вета – на русском, Севиль – на азербайджанском. Но они прекрасно понимали друг друга, так как выросли на одной земле – оба языка были на слуху. Не хватало, как говорится, только практического его применения.

– Позови, пожалуйста, сына, – попросила Севиль. – Я видела, он сегодня к тебе пришел. Давно хотела спросить кое-что…

Глядя на нее, можно было предположить, что эта женщина – благородных кровей, ханских, не меньше. Но, как выяснилось, на самом деле Севиль была из очень простой семьи. Ровный стан ее – результат ношения тяжелых корзин с зерном на голове, улыбка – черта характера и сельского воспитания, когда детей пестуют в скромности и доброжелательстве. А красота и белая кожа – особая генетика, связанная с особенностями климата горной местности Ходжалы, откуда она была родом.

– Здравствуйте, Севиль ханым, – в коридор, прихрамывая, вышел сын Веты.

– Олег, – так и не поддавшись на уговоры войти в комнату, обратилась Севиль к соседу, у которого, как она слышала, собрались военные самых высоких чинов – все они пришли на день рождения однополчанина. Они явились, чтобы лично выразить матери Олега благодарность за сына, который был награжден орденом.

Женщина вытащила из кармана жакета фотографию, на которой была запечатлена вся ее семья: муж, она и четверо детей со своими семьями – две дочери, два

сына, их мужья, жены и целых 10 внуков! Из взрослых оба ее сына, а из внуков – три девочки и три мальчика и лицом, и улыбкой очень походили на нее. Севиль сидела рядом с Самедом киши в центре, за ними стояли дети, внуки сгрудились вокруг. Студийное фото. Лица застыли в напряженном ожидании: когда «вылетит птичка»… Не в силах сдерживать счастливую улыбку Севиль, ее сыновья, три внука и три внучки… Остальные смотрят серьезно. Мать достойного семейства излучает вполне заслуженное безмерное счастье и полное удовлетворение своей судьбой…

– Прошу тебя, вспомни, ты там не встречал моих детей? Вот ее, мою дочь, ее мужа и моего внука – вот они все здесь?

Олег внимательно посмотрел на фото.

– Нет, ханым, не встречал.

– Ты же был в Ходжалы? – на ее лице было написано сплошное отчаяние. Прижимая фотографию к груди, скинув туфли, она прошла в гостиную, скромно поздоровалась. При ее появлении крайний мужчина в форме вскочил со стула:

– Присаживайтесь, ханым.

Но соседка, с трудом передвигая ноги, с тем же безнадежным выражением лица протянула фотографию:

– Оглум (сынок), – обратилась к крупному мужчине, как ей показалось, самому главному здесь военачальнику, – прошу тебя, внимательно посмотри – эта и эти двое – не встречал где-нибудь там, в Гарабахе?

Полковник взглянул на фото, затем передал рядом сидящему – фотография описала круг и вернулась к владелице.

– Нет, ана, не встречали.

– Ты был в Ходжалы?

– Был, – в глазах полковника вспыхнул огонь. – Нет, мать, не встречал твоих детей. Прости… прости за все…прости, что не уберегли…

Женщина обвела присутствующих пустым взглядом. Еще несколько минут назад в ее сердце теплилась надежда, теперь опять стало пусто и больно. В задумчивости она присела на стул, казалось, последние силы покинули ее. В комнате повисла тягостная тишина.

– 26-го это было, февраль… да вы знаете… – начала она свой рассказ. – Нас выстрелы разбудили. Мы уже не раз их слышали, но нам говорили, что скоро все прекратится, что прибыли миротворцы, и они помогут восстановить мир… много жителей эвакуировали в Баку на вертолетах, город уже был в блокаде. Мы ждали своей очереди, муж мой начальником был, занимался эвакуацией жителей. Но дня за три вертолеты больше не прилетали, и мы подумали, что о нас забыли. Но продолжали верить в справедливость Аллаха, который не должен дать погибнуть нашим детям, – Севиль промокнула глаза краем красивого келагаи со старинным баскальским орнаментом.

Старые вояки молчали, никто ни разу не перебил женщину, которой, судя по всему, нужно было выговориться. Слишком долго она скрывала свои эмоции, заботясь о здоровье близких…

– Я уже какую ночь не спала до того. Все прислушивалась – не летит ли вертолет за нами. Но было тихо, даже собаки не лаяли, забились под сарай. Небо темное, безлунное. Но все чаще и чаще освещается всполохами – гул приближается. Муж тоже не спит – накинул пальто и курит во дворе, одну за другой.

– Что с нами будет? – вышла я за ним во двор.

– Не знаю, – отвечает.

Впервые за всю нашу совместную жизнь я услышала от него, главы семейства, такой ответ. От его слов мне стало совсем страшно. И от взгляда его.

– Ничего не понимаю, – сказал он. – Почему нас не вывозят? Что вообще происходит?

– Наверное, мы уже никому не нужны, – сказала я. – Разве что своей земле...

Вскоре стали стрелять совсем близко. А потом началось…

Севиль ханым говорила ровным, каким-то безразличным, усталым или, скорее, безнадежным голосом, и картина происходящего разворачивалась перед глазами присутствующих – страшная, в мельчайших подробностях.

– Наши мужчины, соседи и военные бегали между домами, стучали в окна, двери, помогали собраться. Зима в горах суровая, и февраль, как обычно, выдался самым холодным. Трое внуков, слава Аллаху, – она воздела к небу руки, – ночевали в тот день у меня… пока мы одели детей, похватали какие-то вещи, бежать стало поздно. Прибежал старший сын, сказал, что в город ворвался враг. Я сама слышала, как на соседней улице грохочут гусеницы танков. Я слышала, как кричали раненые, затем выстрелы – и все стихало… И я слышала не только армянскую речь, – ее взгляд метнулся на Олега. – Как, как такое могло случиться?

Севиль ханым крепко зажмурила глаза, останавливая поток слез, но они все равно просочились из-под дрожащих ресниц и закапали прямо на фотографию.

Олег вышел ненадолго и вернулся с подносом, молча расставил перед сидящими стаканы с чаем, пододвинул поближе к соседке конфетницу… Она растерянно, словно глядела сквозь, задержала взгляд на хрустальном стакане.

– В ту ночь двое детишек старшей дочери у меня заночевали, а один с ними остался. Газ в районе с начала года вообще отключили, и наша старая печь нас здорово выручала. А у них новый дом был, с паровым отоплением, печка всего в одной комнате, дети и заболели… а дочь с мужем и старшим сыном в своем доме остались…

Она теребила в руках край келагаи и смотрела на стакан. Мужчины терпеливо ждали продолжения рассказа, слышанного много раз из уст пострадавших, людей, чьей участью стало, бросив родимый край, благоустроенные дома и хозяйство, стать беженцами на родной земле, из которой их нещадно вырвали, как вырывают крепкие плодоносные деревья при прокладке новой дороги – безжалостно, грубо, вместе с корнями…

Теперь им предстояло забыть о прежней размеренной и понятной жизни, искать хоть какое-то убежища для своих детей, стариков, новый способ заработка, привыкать к незнакомым реалиям и нередко совершенно незаслуженно – к людскому презрению.

После того, как рухнул Союз и с ним все прежние устои, слово «беженец» на великих просторах постсоветского пространства заменило прежнее теплое «товарищ». Беженец – производное нового времени, страшное прозвище, незавидная участь, которую не выбирают…

– Мы пробирались огородами, вдоль русла реки, шли в сторону Агдама и, слава Аллаху, смогли дойти до Пирджамала, там, наконец, нас отогрели. Но у многих были обморожения, ведь они так и не успели как следует одеться, некоторые шли в домашних тапках или носках – прямо по снегу. Было страшно, холодно, начался снегопад. Хотя он-то, наверное, и спас многих. Родные горы укрыли нас, и Небеса все же сжалились над нами… – она говорила быстро, не открывая глаз. – Дети дрожали и плакали, не понимая, что происходит и куда ведут их родные в такой холод – они при-

выкли, что мы их всегда берегли от него. Иногда враги были совсем близко, и тогда мы зажимали детям рты, чтобы они не выдали нас. Но моих соседей, как я потом узнала, все же обнаружили – заплакал грудной ребенок… совсем младенец, я его держала вот в этих руках, помню, как радовался молодой отец – устроил знатный той …вся семья погибла…

Севиль ханым резко распахнула свои голубые глаза, словно не в силах больше испытывать боль, вызванную воспоминаниями.

– Простите, – она смущенно оглядела мужчин, поправила на голове платок и тыльной стороной ладони просто, по-крестьянски, утерла слезы.

– Что стало с твоей дочерью, ана? – задал вопрос один из офицеров.

– Говорят, их взяли в плен. Наш сосед, военный, потом возвращался туда, своих искал среди убитых. Всех нашел, а моих, говорит, не встретил. Значит, живы они? Может, и правда в плену?

– Если не нашел, значит, живы, – мрачно произнес один из мужчин. Женщина испуганно посмотрела на сказавшего.

– Иншаллах! – тихо произнесла она. – Я слышала, что пленных армяне используют на золотых приисках в Кельбаджаре. Может, они и правда еще живы?

Севиль опять сжала веки, все присутствующие без исключения мгновенно ощутили боль, что пронизала эту женщину. Понять пережившего войну может только переживший войну…

– Сколько людей убили, простых жителей. Зачем?! Скажи, зачем убивать детей, их матерей? Выкалывать глаза? Вспарывать беременным животы, отрезать головы, бросать под колеса… Где, у каких матерей рождаются такие звери? Проклятые! Зачем убивать стариков? Даже мужчин? Они же безоружные все были. Простые сельчане, сеющие хлеб… – она вздохнула и сказала тихо, но с сердцем: – Столько проклятий этим убийцам послано, если бы люди были – уже не вынесли бы этих проклятий. А может, уже и горят в аду… И я до конца своих дней буду проклинать весь их род…хотя этим не вернешь моих несчастных сельчан, погибших в страшных муках…

Севиль ханум вздохнула и оглядела суровых на вид полевых командиров, хранивших молчание. Она поняла, что им действительно нечего ей ответить. Война не закончена, хотя и наступило перемирие. Шутка ли – семь оккупированных районов. Раз земля под пятой врага, значит, война продолжается.

– Да хранит вас Аллах, – женщина тяжело поднялась и вышла за дверь.

Виттолина Викторовна все это время находилась на кухне. Она стояла у плиты и, прижав руки к груди, тихо плакала. Она не очень хорошо понимала азербайджанскую речь, но знала историю соседки, потерявшей детей – ее женское, материнское сердце слишком хорошо чувствовало и улавливало суть трагизма произошедшего. Каждый раз при слове «Ходжалы» вздрагивал каждый, знающий его ужасную историю…

***

…Когда началась война, сын Виттолины Викторовны Олег, кадровый военный, окончивший бакинское пехотное училище, мог бы преспокойно устроиться где-нибудь в России, на своей исторической родине. Так поначалу, в принципе, и было. Уехал в конце 80-х в «резиновую» Москву…. Стараниями «отца демократии» Горбачева авторитет военных в России на тот момент обесценился совершенно, и армия усилиями но-

вого президента была распущена. Олег смог устроиться на завод мастером и даже получить комнату в общежитии, где поселился с женой и ребенком. И вроде влились они в эту московскую бытность. Непривычная для Олега гражданская жизнь постепенно налаживалась и без казарменных привычек: ходить строем, участвовать в учениях и ночных дежурствах. Но в Гарабахе начались военные действия, и все его товарищи по училищу ушли на передовую. Выходит, он один, как предатель, отсиживается в теплом месте, пока его родине угрожает опасность, – мучился он мыслями по ночам. Он-то точно знал, что там большая напряженка с местными военными кадрами.

– Нужно ехать, – однажды решительно сообщил он жене и стал собираться в дорогу.

– Кому нужно? – скептически переспросила та. – Ты русский, твое место здесь.

Но она тут же сама вспомнила, как несколько раз пришлось столкнуться с москвичами из-за своеобразного бакинского акцента – их здесь принимали настороженно, с недоверием и искренней враждой. Они были теми же презренными беженцами на своей исторической родине, где их и русскими-то никто не считал – другие взгляды, привычки, даже традиции, почерпнутые в результате тесного общения с азербайджанцами…

Эмигрировавшие бакинцы старались держаться вместе и по той же бакинской традиции помогать друг другу. Их всегда и везде, помимо экзотических фамилий, выдавали акцент и особые манеры. Так или иначе, но «понаехавшие» вносили свою заметную лепту в местные традиции взаимоотношений. В свою очередь, принимая совершенно отличный от их прежней жизни чужой уклад, многие бывшие бакинцы порой кардинально менялись сами: кто-то, сориентировавшись, по-московски «пошел по головам» – решительно и бескомпромиссно устремился в бизнес, кто-то сделал головокружительную карьеру, а кто-то так и не нашел себя, застрял в глубинке или спился и упал на дно…

Таня посмотрела на мужа, но он, казалось, прочитал ее мысли.

– Я – русский азербайджанец, – как всегда в шутливой манере сказал Олег, – и мое место там, где мои товарищи, мои родители и моя земля. Я вырос там, если ты забыла.

Сказал, и у обоих словно гора с плеч упала. Всегда чувствовали, что хотя Россия и родина историческая, но не вписывались они уже в этот «исторический формат». Душой они уже были скорее азербайджанцами и испытывали по родному Баку, по мусабековским друзьям и подругам, по родным, по бульвару, по морю страшную ностальгию.

Родителей, конечно, не обрадовал такой поворот событий, но они не стали уговаривать Олега вернуться обратно в Москву. Поняли, что решения своего он не изменит. Повздыхали, вспомнив, как когда-то, еще в советские годы, радовались, узнав, что Олег захотел стать военным: приличный фиксированный оклад, офицерский паек (при тогдашнем нарастающем дефиците товаров это был большой плюс), да и работа не пыльная – командуй себе, да изредка выезжай на учения (отдохнуть от семьи).

Муж дочери тоже был военным – врачом, полковником. Ему пришлось побывать в Афганистане, но его рассказы о войне не казались настолько страшными, ведь враг был эфемерным – где-то далеко, за границей, и зять исполнял свой интернациональный долг. Никто не вникал в суть этой военной «миссии», в ее бессмысленность и совершенно негуманный, казалось бы, идущий вразрез с советскими

принципами, характер. После распада Союза и Закавказского военного округа зять остался в рядах российской армии, и семья дочери переехала в Москву, куда вскоре и подоспел Олег со своей семьей.

…Гарабахская война для всех была реально ощутимым бедствием, ведь она шла совсем рядом и вовлекала, калечила и обездоливала все больше людей. Весь ужас состоял в ее непредсказуемом характере и в том, что параллельно происходили другие тягостные события, когда разрушались все былые высокие идеалы, устоявшийся уклад и вся система ценностей. Разрушался привычный мир: разваливалась экономика, закрывались (распродавались) предприятия некогда богатой нефтяной империи. Многие семьи испытывали страшную нужду, не имея работы и, соответственно, средств к существованию. Баку – город беспечных и довольных людей, город музыки, джаза и искусства – погрузился в суровую мрачную атмосферу: где-то постреливали, кого-то грабили, похоронные палатки возникали в разных частях города ежедневно и с каждым днем их становилось все больше… И повсюду черные толпы беженцев: неустроенные, измученные бытовыми неурядицами, не отошедшие от пережитого, увиденного. Общее горе их объединяло, и они были огромной силой. Каждая несправедливость по отношению к ним вспыхивала новой чередой митингов с колоннами рыдающих, бьющих себя в грудь женщин, лишившихся не только имущества и угла, но и части своей семьи, переживших ужасную трагедию совсем недавно…

О подвигах сына мать, Виттолина Викторовна, узнала только теперь, когда Олега, серьезно раненого в голову, после госпиталя стали навещать фронтовые друзья и командиры. Она смотрела на лица этих людей, и по коже ее пробегал мороз. Она давно поняла – на примере зятя, а потом и сына, что люди, опаленные войной, уже никогда не будут прежними. Они и улыбаются иначе, и разговаривают, словно пребывая все время в каком-то ожидании внезапных перемен, напряжении, словно понимая, что эта гражданская жизнь с ее мирным течением и праздностью уже никогда не будет прежней для них. Видимо, их мозг, подвергшийся давлению, необратимо изменился, и они видят в людях то, что простым смертным не дано увидеть. Ведь война – это место проверки всех человеческих качеств...

Олег сам сказал:

– Мама, на войну человек уходит одним, а возвращается совершенно другим, каким останется уже до самой смерти, и ничто не в силах его изменить.

О ее сыне эти полевые командиры говорят только хорошее. Да и сын о них – что все они герои. Наверное, это такая фронтовая мужская дружба, круговая порука. Как сказал сын, на войне герои все, кто смог выжить. А выжить можно только сообща, помогая друг другу в этих страшных условиях.

Один из командиров рассказал, как Олег однажды спас заблудившегося совсем еще юного солдатика: в момент неожиданной атаки врага тот спал под кустом – там и схоронился. Батальону пришлось тогда отходить и укрываться в горах. Олег, наутро недосчитавшись солдата, вернулся на место боя и отыскал солдата, ведь он был ответственным за своих бойцов. Казалось, спас одного человека – а сколько жизней за этим зеленым юношей стоит! В другой раз они, также с трудом, вырвались из кольца, но в окружении оставалось больше десяти таких же необстрелянных бойцов. Никто не хотел возвращаться, говорили, что это сродни самоубийству – враг наступает, явно превосходит в силе и достаточно профессионален, настоящая «дикая дивизия». Но Олег и друг его Наиль, окончившие пехотное училище и знавшие, как управлять БМП, умчались на машине в сторону врага. К вечеру вернулись, груженые «живой силой»:

бойцы, в их числе и раненые, сидели вповалку внутри и снаружи. Однажды на глазах у всех во время боя от прямого попадания загорелся танк. Олег с товарищем Талехом бросились открывать люк, который заклинило. Над головой летали пули и впору было спасаться самим, но они слышали, как внутри кричали погребенные заживо товарищи и продолжали бить по люку. Олег видел, как Талех осел и рухнул с танка на землю – его скосила пуля. Он крикнул, и друга оттащили вглубь леса, где принялись оказывать первую помощь. К Олегу подскочили еще двое – общими усилиями, ценой ожогов, им удалось, наконец, справиться с тяжелым люком. Вместе с клубами густого дыма из танка повалили солдаты его взвода – кто ранен, кто отравился дымом, кто серьезно обожжен, но самое главное – все живые!

Талех рассказывал: он видел, как Олег тогда, не сходя с дымящегося танка, поднял глаза к небу, раскинул руки и закричал: «Спасибо, Господи!» Вокруг свистели пули, казалось, сам воздух был насквозь ими прошит. А этот русский стоял, и пуля его не брала! Олег верил, что пуле его не взять, что «пуля – дура»! Он слыл не просто бесстрашным, а скорее безбашенным: мог во время перестрелки встать во весь рост и пойти искать свою ушанку, или на спор – карту. Слушая веселые рассказы, по сути, о героизме сына, Виттолина Викторовна с мужем не улавливали никакого юмора, они ужасались, только на миг представив, что могло произойти из-за сыновней никчемной бравады. И почему в такие мгновения никто не вспоминает своих родителей, – думала мать Олега. Но у войны свои неписаные правила, свой кодекс чести и поведения, и это тоже чья-то жизнь, молодость, переживаемые чувства и эмоции…

Но «пуля-дура» все же настигла его. И это было спустя три месяца после достигнутого новым правительством во главе с Гейдаром Алиевым соглашения о перемирии в мае 1994-го. В августе БМП с группой бойцов, возвращаясь из части в Баку, подорвалась на мине. Больше половины погибло, у Олега – тяжелое ранение в голову. Он, как всегда, с юмором вспоминал, как его, почти бездыханного, бойцы привезли в полевой госпиталь, где на его счастье оперировал «нейрохирург от бога», посчитавший своим долгом быть на передовой. «Если он умрет, – пригрозил ему один из друзей Олега, – я лично застрелю тебя». Хирург устало отвел руку с сигаретой и сказал: «Убить, может, и легко, но как жить с этим потом будешь?» Он уже привык к такого рода угрозам – изъявлению фронтовой дружбы. Все переживали за своих друзей, с которыми война связывала порой крепче, чем родственные узы. Но не все, к сожалению, выживали. Этого хирург не сказал, а направился прямиком в операционную. Он сделал главное – подарил надежду на жизнь, а основное лечение предстояло продолжить в бакинском военном госпитале, куда Олега переправили на вертолете.

Лежа на больничной койке, Олег заметил, как за это время постарели его красавица-мать и отец. В госпитале раненые поняли, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»: медикаменты приходилось приобретать за свой счет и платить за услуги медперсонала. Еду, которую приносили родственники, делили с теми, у кого родных в Баку не было, те остались в районе, и многие даже не знали, что случилось с их детьми.

Олег страдал страшными головными болями, осколок пробил черепную коробку и часть ее была удалена. Требовалась срочная пластическая операция. И тут жена Олега Татьяна, бывшая журналистка, узнала о том, что израильское правительство предложило помощь – сделать операции тяжелораненным воинам азербайджанской армии. Татьяна подключила своих друзей-журналистов, которые помогли внести фамилию Олега в уже практически утвержденный список.

В Израиле ему сделали операцию. Но требовалась еще одна – повторная, дорогостоящая. В Баку никто не брался за нее, а оплатить лечение в том же Израиле, располагающем новейшими технологиями и медоборудованием, было некому. После долгих мытарств по министерствам не нашли другого решения, как уехать по так называемой «еврейской линии», которую организовала его шустрая супруга. С двумя детьми (второй совсем еще грудной) отправились на постоянное место жительства в благословенный Израиль – это был шанс остаться Олегу в живых. Ему сделали в военном госпитале в Хайфе еще две операции – как пострадавшему на войне, в военном конфликте, хотя и не в израильско-палестинском, и это удивляло Олега больше всего. Но, наверное, чтобы понять горе другого и иметь желание помочь, надо самому пострадать…

Но Израиль, новая «Земля обетованная», была гораздо позже – в 1998-ом... А пока его товарищи сидели у Олега дома.

– Олег, – негромко произнес Талех. – А ты помнишь тот случай, когда мы вышли из первого боя под Агдамом?

– Какой случай? Случаев было много, – усмехнулся Олег, и тут же невольно сморщился, резкая боль пронзила голову словно насквозь. Даже в момент ранения он не ощущал ничего подобного.

– Когда мы вернулись – все живые! Первое боевое крещение. Помнишь, первая наша победа! Ребята стали палить на радостях из автоматов, и один салага случайно пальнул в сторону беседки…

– Зачем ты это сейчас вспомнил? – нахмурился Наиль.

Талех, Олег и Наиль. Вместе учились, вместе решили поступать в пехотное, стать военными. С пятого класса их объединяла любовь к военной технике. Наиль был сыном военного, жил в Сальянских казармах, часто с восторгом рассказывал о военных учениях, показывал фотографии, картинки, вырезанные из журнала «Техника молодежи». Это он привил двоим своим товарищам, Олегу и Талеху, «военную романтику», мысль, как это почетно и круто – служить в армии, защищать свою родину и, главное, быть поближе к военной технике.

– Того несчастного звали Ильяс, не так ли? Фамилию помнишь?

– Конечно, – сказал Наиль, – мой ефрейтор, смышленый малый был... – Он вздохнул. – Настоящий мужчина, каких мало… а так бесславно погиб… по чьей-то дурости…

– Это война, – глухо произнес полковник. – Все, что на ней происходит, – все по чьей-то дурости…

Все пятеро одновременно подняли головы и посмотрели на командира.

– Вы по-другому думаете? – обвел он тяжелым взглядом своих бойцов. – Кто-то начинает войны, а наше дело – закрывать чьи-то косяки или хотя бы сдерживать врага. Как сейчас.

Талех, чрезмерно эмоциональный и резкий в словах, посмотрев на товарища, с пренебрежением в голосе произнес:

– Сейчас не просто косяк, это полная лажа… потерять Гарабах – это… это …

Говорящего остановил все тот же взгляд командира. Взгляд, слишком красноречивый, чтобы его не понять или дожидаться слов объяснения. Взгляд, повидавший столько, что обрел телепатические способности – проникать в считанные секунды в подкорку. Взгляд, который всегда будет мерить жизнь по меркам войны…

– Мы делаем работу, как положено, и готовы головы свои сложить за свой Азер-

байджан, но не все зависит от нас, ты ж у нас политруком был, ты знаешь, какая сейчас обстановка в мире и в регионе. Патриотов хватает, но этого на сегодня мало. Войны ведутся кабинетные, если по бабкам удастся договориться – считай, война закончена. Сегодня ситуацию не спас бы даже гениальный стратег Аманулла хан Гаджар.

– Для чего тогда мы нужны? Давай разбежимся по углам! И закончим на этом! – с обидой произнес Талех.

– Мы должны сдерживать этот пояс, чтобы не стало хуже, я повторяю, мы должны закрывать все эти косяки, даже ценой своих жизней. Мы военные – и это наша работа, обязанность. Придет время – все вернем, не сомневайтесь.

– А никто и не сомневается, – слишком уж весело сказал Олег, – я больше скажу: я хочу в этом принимать участие!

– Да сиди уже, – махнул на него рукой Талех.

– Работу всегда можно сменить. Я здесь не только потому, что военный спец, – обиженно произнес Наиль. – Я не успокоюсь, пока последняя вражеская собака не уйдет с моей земли!

Командир выслушал, не спуская с него тяжелого взгляда; после того, как тот замолчал, обратился к Талеху:

– Что ты говорил насчет Ильяса?

Этот шустрый, симпатичный парнишка тоже остался в памяти командира как один из немногих с задатками настоящего бойца. Командир не только был наслышан о его смелости и стратегической мудрости, но и сам успел удостовериться в его способностях. Хотел после того боя сделать его своим адъютантом…

– Его мать живет во дворе моего брата.

– Надо ее тоже навестить. Скоро Новруз байрам. Мы должны это сделать, рассказать ей о сыне, о том, что вырастила достойного человека…

– Думаю, это ни к чему. Как раз этого ей знать не нужно…

***

… Ильяс! Ильяс! – по двору разносился тревожный голос матери. – Где ты, сынок?!

Почти каждое утро начиналось одинаково. Заспанный сосед, быстро накинув халат, вышел на смежный балкон.

– Сона хала, Ильяс скоро подойдет, он у товарища задержался!

– У какого еще товарища? Утро раннее! Всю ночь где-то гуляет, а мать должна волноваться?! Вот придет отец со смены – все ему расскажу! Передай, что я твоего дружка на этот раз защищать не буду. Смотри на него, новую моду взял – по ночам где-то бродить!

– Скоро придет, не переживайте!

– А ты откуда знаешь? Что, с ним был?

– Да, да, был, конечно… идите, отдыхайте, Сона хала, он скоро подойдет.

Еще раз строго взглянув на соседа, ровесника и друга сына, женщина зашла в квартиру.

Кямран поежился от утреннего, довольно свежего воздуха.

Его молодая жена, оторвав от подушки сонное лицо, недовольно приоткрыла глаза.

– Сколько это может продолжаться? Я каждый день будто по будильнику просыпаюсь. Ни в субботу, ни в воскресенье покоя нет.

Кямран посмотрел на супругу долгим взглядом.

– Ты что, совсем ничего не понимаешь?

Лейла виновато спрятала глаза.

– Ну что теперь нам делать? У каждого человека своя судьба, свои проблемы. Ну, уже случилось. Но это ведь ее жизнь. Мы за что страдаем?

– Что ты предлагаешь? – Кямран встал посреди комнаты, с вызовом скрестил на груди руки.

– Ну, не знаю, может, у нее родственники есть где-то в районе – продали бы квартиру и взяли деньги себе, присматривали бы за ней.

– Ты понимаешь, что она никуда отсюда не уйдет? Она существует в своем мире, где ее сын жив и вот-вот вернется. Для нее та черная полоса навсегда выпала из памяти. Для нее Ильяс жив! Она разговаривает с ним, уверена, что он где-то рядом, ходит на работу, ужинает с ней…

– Я об этом и говорю, это же ненормально! Ты знаешь, что ей может в голову взбрести? Она может, в конце концов, нож в руки взять, дом поджечь… Она же неадекватно мыслит! Она больной человек и живет одна, без присмотра…

– Не одна… – Лейла метнула испуганный взгляд на мужа. – Ну, думает, что не одна… Ахмед киши умер тогда от разрыва сердца, прямо на пороге, как только увидел посыльного из военкомата, все понял… – Кямран стукнул кулаком по стене. – А сколько он ходил туда, добивался исполнения указа: не брать единственного сына в армию, единственного кормильца! Ильяса прямо в автобусе схватили, облава была, всех молодых похватали. Один раз он через окно успел вылезти, убежать, а в тот раз не удалось… Когда сообщили родителям, времени было в обрез – за деньги можно было еще вытащить его, но Ахмед киши уже полгода был безработным…

Кямран налил в две чашки чай, достал из холодильника блюдо с пирожными, благо в однокомнатной хрущевской квартире, переделанной в студию, до всего было рукой подать. Вернулся с подносом в постель к молодой жене.

– Его завод закрыли, кто-то приватизировал, и набирали новых молодых работников, – продолжил Кямран, жуя эклер. – Сона хала всегда была домохозяйкой – у них на тот момент Ильяс и вправду единственным кормильцем был. С трудом устроился поваром на паром, продукты приносил и деньги. Мечтал в институт поступить, в нархоз, говорил, вот скоплю денег, там, знаешь, сколько каждая сессия обходится! Я помню, он всегда, еще со школы все пытался подрабатывать: то ящики магазинщику таскал, то в Пиршаги ездил за цветами ухаживать в теплице, к какому-то богачу, цветочному магнату. Часто его, мальчишку, оставляли ни с чем, но иногда удавалось и заработать. Помню, один раз – лет пятнадцать ему было – принес он матери денег. Говорит, вот, возьми, я же мужчина, тоже должен в дом деньги приносить…Она такая счастливая была. И отец гордился, говорил все время нам: «Есть такая японская пословица: хочешь человеку помочь, не давай ему хлеба, а научи его этот хлеб выращивать». На всю жизнь я запомнил эти его слова. Он часто подсаживался к нам, пацанам, и учил нас, как надо жить…

Кямран усмехнулся. Вспоминая друга, с которым прошел огонь и воду, занервничал. Поставил на тумбочку тарелку и потянулся за сигаретами. Лейла накрыла пачку рукой:

– Ты же обещал бросить.

Кямран решительно убрал ее руку и, вытащив сигарету, вышел на балкон.

***

…– О, Аллах, за что мне эти муки! – Нармина нервно скрестила руки на груди. Половина мужа оставалась нетронутой. «Скажет, что ночевал у матери, а та, как всегда, будет его покрывать», пронеслось в голове.

– Как надоела эта старуха! Ну, когда ее в психушку наконец заберут! – со злостью произнесла женщина вслух, хотя старухой называла свою ровесницу, они когда-то даже учились в одном классе. Знала, что случилось в ее семье, что в один день, узнав о трагедии с сыном, ее одноклассница лишилась чувств и очнулась уже другим человеком, с поврежденной психикой. Несчастная Сона до сих пор не ведает о том, что в тот же день еще и мужа лишилась …

С молодости недолюбливала Нара эту Сону, корчившую из себя недотрогу. Ни лицом, ни фигурой, ни родом не вышла, а ходила вечно, задрав голову, как королева. Девчонок это страшно раздражало, а мальчишки тянулись к ней, будто она медом была помазана – уж очень улыбка ее всем нравилась! Даже теперь лицо ее приветливой улыбкой светится. Знала бы, что улыбке в ее жизни уже нет места…

Нет, за что-то, видимо, Аллах все же пожалел ее, лишив разума, решила Нармина.

«А меня Аллах, видно, не любит вовсе!» Нара чуть не заплакала, взглянув на себя в зеркало – в кого она превратилась за эти годы: под глазами круги, уголки губ скорбно опущены. Губы плотно сжаты то ли в преддверии слез, то ли неминуемого скандала? Всю ночь думала о своем муже-казанове, не могла уснуть, все представляла его рядом с очередной пассией. Ей хотелось плакать, кричать и биться головой о стену. Она уже устала выслеживать, вытаскивать его то из одной, то из другой постели, выяснять отношения, скандалить с тем, чтобы, пережив очень короткий промежуток примирения, начать все по новой. Неужели она, независимая, красивая и богатая женщина, известный врач, дочь министра, хотя и бывшего – влиятельного человека, которого знает полгорода, заслужила такую трудную, унизительную судьбу?

Наверное, правильно говорят: нельзя выходить замуж без родительского благословения. Те сразу раскусили этого «подлеца», и при первом же его адюльтере в категорической форме предложили дочери развестись со своим «красавчиком». Но она продолжала любить и злилась чаще не на своего благоверного, а на родителей, которые со временем вовсе запретили приводить его в родительский дом. Только она его понимала, сама оправдывала все его похождения – ведь он был неописуемо красив. Особенно теперь, в зените мужской зрелости… Несмотря ни на что, он ей был необходим, как воздух.

Нармина услышала, как вставили ключ в замочную скважину. Быстро накинув кружевной шелковый халатик, она спрыгнула с кровати и поспешила в прихожую.

Но это был ее младший сын Самир. Он сощурился от вспыхнувшего яркого света и нерешительно затоптался на пороге.

– О, Господи, что ты там застрял? – недовольно произнесла мать. – Где шлялся всю ночь? Весь в папашу, такой же дебил!

Не дождавшись ответа от своего 20-летнего бездаря, вернулась в спальню, закрыла за собой дверь. Кроме мужа ее, казалось, не интересовало ничего в этом мире. Дети выросли с няней. Ее мать виделась с внуками нечасто из-за разногласий с зятем, свекровь из-за такого пренебрежительного отношения со стороны родителей невестки тоже строила из себя обиженную и не очень-то рвалась общаться с внуками – они

виделись по редким праздникам. Оба сына были предоставлены самим себе после того, как перестали нуждаться в помощи няни. С двенадцати лет сами ходили в школу, делали уроки, выбирали себе друзей и чем заниматься в свободное от школы время. С возрастом они все чаще сбегали на улицу от родительских скандалов, которых сначала очень стеснялись, а потом привыкли к тому, что весь двор знает, что происходит в их семье – что отец у них «настоящий мужик», как уверяли их друзья, а мать – «как все женщины». Но эти скандалы не могли не сказаться на них, на отношениях с родителями, которых, казалось, ничто не могло примирить и в то же время разделить.

– Если отец такой дебил, почему ты живешь с ним столько лет? – с какой-то странной улыбкой на лице запоздало крикнул вслед матери Самир. Впервые он позволил себе подобную дерзость.

Нармина вернулась в коридор. Сын стоял в куртке, продолжая теребить в руках связку ключей. Его слегка как будто покачивало, а на лице красовалась ехидная ухмылка. Нармина подошла вплотную.

– Ты что, пил? – она обнюхала сына.

– Что ты, мама, мамуля! – слово «мамуля» прозвучало как издевка.

– Что с тобой? Где ты был? – наконец задала она вполне обоснованный вопрос, какой должна задавать каждая мать своему припозднившемуся сыну.

– Устал, спать хочу, – сын хотел было направиться к себе, но Нармина схватила его за плечо.

– Устал? А что ты делал, чтобы уставать? – Нармина, накрученная изнутри, как обычно, завелась с полоборота. И, как обычно, под руку попал сын. – Он устал, видите ли! Целый день где-то пропадает. Мы для чего тебя отмазали от армии? В институт хоть раз заглянул бы! Я что, печатаю эти деньги – отдавать за тебя каждую сессию? Ты же мужчина, чем заниматься собираешься? Какой из тебя врач, если ты укол нормально сделать не можешь на третьем курсе!

– Укол?! – Это слово очень развеселило Самира. – Укол! – он весело хихикал. – Нет, по уколам у нас Рашад специалист, а я преимущественно по колесам!

– Каким еще колесам? – от этого на первый взгляд невинного каламбура ее словно окунули в ледяную воду, внутри все похолодело.

Недавно ее старший сын Рашад женился, всего полгода назад. А месяц назад она узнала страшную правду от его жены – Рашад был наркоманом. Как мать, к тому же врач, не заметила, проглядела момент, когда зародилось и стало прогрессировать это смертельное пристрастие. Но Рашад горячо всех заверил, что такого больше не повторится, даже согласился пройти курс лечения у знакомого врача, который, как давший клятву Гиппократа, обещал сохранить все в тайне. Но информация все же просочилась, знакомых облетела позорная весть.

Сердце Нармины тревожно екнуло. Она-то знала, что наркомания – неизлечимая болезнь и держаться какое-то время помогает лишь весомая мотивация, то есть, все держится на одном «честном слове», больной в любой момент может сорваться.

Она пошла вслед за Самиром в его навороченную по последнему слову техники комнату. Тот возился с брюками – попытка стащить их с первого раза не удалась.

– Мама, выйди из комнаты, я же не ребенок, – он и присутствия матери не сразу заметил.

– О каких-таких колесах ты сейчас сказал? – она не обратила внимания на его просьбу. – И почему ты ведешь себя так неадекватно?

Самир наконец справился с брюками. Он с силой швырнул их в кресло.

– Это я веду себя неадекватно? – он вдруг подскочил к матери и заорал во все горло. – Это вы все ведете себя неадекватно!

– Тише, соседи еще спят, наверное, – впервые столкнувшись с агрессией младшего сына, любимчика, Нармина опешила.

– Ты только сейчас вспомнила о соседях? Да мне плевать на них! Ты не о соседях думай! О нас думай! – он заметался по комнате и каждый раз, уходя вглубь и возвращаясь, накидывался на мать. – Неадекватный... Отец – дебил... Думаешь, что говоришь сыну? А если так думаешь, чего терпишь? Брось его, меня! И оставь всех нас в покое, наконец!

– Ты… ты что говоришь? Я же ради вас с Рашадиком все это терплю, я же семью хотела сохранить…

– Да хватит уже, мама! Ради нас… – взгляд его, казалось, слегка потеплел, а в голосе засквозила горечь. – А ты у нас спросила, нужна нам такая семья? Эти вечные скандалы, этот позор, в котором мы живем? Это твое вечно недовольное лицо, слезы? Тебе же все время было не до нас! Меня «сынок» моя няня называла, не ты!

– Неужели ты только это помнишь? – тихо произнесла Нара.

– А что еще? Что мы ни в чем не знали нужды? Да плевать мне на эти горы игрушек и импортных шмоток! Плевать на этот институт, не хочу я работать врачом! Меня выворачивает при одном только взгляде на чужие раны или гнилые зубы, я не собираюсь выслушивать с утра до вечера стоны и жалобы! Я хочу жить в кайф, хочу быть музыкантом! Я пишу техномузыку, ты знаешь об этом?

– Ну и пиши свою музыку, кто тебе запрещает? А институт все равно закончишь, в нашем роду нет никого без образования. А бросишь – в армию загремишь, это я тебе обещаю!

– Да не боюсь я армии! Наоборот, с радостью пойду! Лучше – как Ильяс… геройски, чем…

– Хочешь побольнее ужалить, в самое сердце, да? И это твоя благодарность? – совсем глухо произнесла Нара. – Твоя мать что, алкоголичка, ты жил в голоде-холоде, воспитывался под забором? И ничего хорошего мы с отцом для тебя не сделали?

– Ни одного слова доброго, ни одного ласкового слова я не слышал в этом доме, набитом добром! Ты ни разу не села, не поговорила со мной, не спросила, о чем я думаю, что у меня на душе? – глаза его были наполнены слезами. – Сказать, почему я шляюсь, как ты говоришь, ночами и не спешу домой? Сказать, чем я занимаюсь?

– А отец, конечно, с тобой говорил и интересовался… – уязвленная таким несправедливым к себе отношением не упустила случая вставить Нармина.

– При чем здесь отец?! – заорал благим матом Самир.

– Во-первых, не смей повышать на мать голос, щенок! – со злостью прошипела Нармина. – А во-вторых…

– Щенок! – сын заревел, словно раненый зверь. Затем вдруг начал громко смеяться. – Вот кто я для тебя! Щенок, а не сын! Щенок! Ты даже не слышишь, что я тебе говорю!

Он начал со злостью бить кулаком в стену, от очередного сильного удара лопнула кожа, но Самир, казалось, не чувствовал боли и продолжал колотить по стене окровавленной рукой.

– Что ты делаешь? – закричала в свою очередь Нармина. – Знаешь, сколько эти обои стоят?

Самир, как подкошенный, рухнул на колени и стал биться о стену головой.

– Сынок, сынок, что с тобой, остановись! – мать упала рядом с сыном на колени, схватила его голову и прижала к груди. Он зарыдал, но по инерции некоторое время продолжал сопротивляться. Наконец затих.

Нармина отстранилась, он тут же открыл глаза – зрачки были расширены. Сердце его учащенно билось, словно он пробежал стометровку, а в уголках губ выступила пена. Почему она, врач, не заметила всех этих изменений еще с первым сыном…

Самир вдруг обмяк у нее в руках – она с трудом удержала его. Сердце сына продолжало стучать также громко и беспокойно.

– Сынок, – из глаз матери потекли слезы, она, наверное, впервые в жизни была так близко к нему, качала его, как маленького. – Любимый мой, родной… – Самир никак не реагировал, то ли уснул, то ли пригрелся в долгожданных материнских объятиях. – Что же это такое… почему… почему это происходит именно со мной?

Опять в замке заскрежетал ключ, и на пороге возник муж, Эльчин. Опешив в первое мгновение от открывшейся в коридоре картины, Эльчин поспешил на помощь. Он поправил неуклюже свесившуюся окровавленную руку сына, спросил испуганно:

– Что здесь произошло?

От него несло женскими духами и коньяком.

– Тебе это действительно интересно знать? – Нармина чувствовала себя совершенно опустошенной.

– Что с ним?! – стараясь не встречаться с ней взглядом, полным немого укора, Эльчин скинул свое великолепное кашемировое пальто и опять присел рядом с ними. Подставив руку, переложил голову сына, начал утирать тому пот.

– Ты знаешь, что такое «колеса»? – бесстрастным голосом произнесла несчастная мать.

– Нет! – замотал головой Эльчин. – Нет, нет, только не это! И он туда же… – глаза отца наполнились слезами боли.

– Я говорила тебе, мальчики должны чаще проводить время с отцом…

– Перестань! Сейчас не до этого, – по-прежнему не глядя на жену, перебил ее Эльчин. – Помоги перенести его на кровать.

Они долго стояли над сыном, казалось, забывшемся безмятежным сном. На секунду Нармину пронизало странное чувство, порожденное ассоциациями: вот они с мужем, молодые, красивые и счастливые, стоят, обнявшись, у кроватки их малыша, самого любимого на свете. Двух сыновей – настоящее сокровище подарила Эльчину Нара! Как они тогда были счастливы, как он был горд, как благодарен ей! Это секундное наваждение вскоре сменили вполне будничные мысли врача: что делать, какой окончательный диагноз, степень зависимости… Они не знали, что сын не спал практически третьи сутки, такая нагрузка вконец свалила его, даже несмотря на принятую порцию наркотиков.

– Ты во всем виновата, – вдруг зло произнес муж, – ты недоглядела. Ты мать! Ты врач, в конце концов! – муж начинал распаляться от собственных слов, и принятый алкоголь был в этом ему надежным помощником.

– Я еще и виновата?! – возмущенно воскликнула Нармина. – А ты все это время где был? В командировке?

– Ненавижу тебя! – Эльчин не знал, на ком выместить свою злость. – Не мать, не жена, не женщина, никто… Тебе надо было мужиком родиться, и не врачом, а вер-

тухаем быть, почему не пошла по стопам своего папаши? Ни ласки, ни любви, только о себе всю дорогу думала. Привыкла, что все твои капризы папочка бежал исполнять! Ни к чему тебя не приучили. Но самое главное – не научили любить!

– И это говоришь мне ты? Это я не умею любить?!

– Кроме себя, никого ты не любишь. Даже детей своих никогда не любила. Все время оправдывалась: вот если бы девочка родилась… хорошо, что не родилась, Бог все видит...

Нармина была уже в спальне, спешно одевалась. Она торопилась бежать, куда глаза глядят, пока ее муж не договорился до главных слов, которые, по-видимому, давно зрели в его голове. Это означало бы ее смерть, она не представляла своей жизни без Эльчина. Она вылетела из подъезда. Куда идти в такую рань?

***

– Ильяс, мальчик мой, ну сколько мне тебя ждать? Завтрак уже на столе, остынет! Неужели так долго нужно за хлебом ходить? Кямран! – позвала Сона хала соседа. Тот сразу же выглянул. – Кямран, сынок, Ильяс не к тебе зашел? За хлебом пошел и застрял где-то, я уже проголодалась сама, пока его ждала.

«Ой, совсем забыл», – промелькнуло в голове у Кямрана. Он каждое утро спускался, чтобы купить соседке хлеба, каких-то продуктов – тогда она на некоторое время затихала.

Из кухни вышла Лейла. В руках она держала хлеб.

– На, отдай, – протянула она своему молодому мужу. – Вчера я купила, но мы же в гости зашли…

Кямран обнял жену и поцеловал в висок.

– Спасибо!

– Почему такой несвежий? – потрогала хлеб Сона хала.

– Еще слишком рано, только вчерашний продавали, – не моргнув глазом соврал Кямран.

Вот уже больше года он, да и все соседи, были втянуты в эту непростую историю.

Нармина подняла голову и увидела на балконе Сону. Не раздумывая, направилась к соседке.

– Ой, Нарочка, – радостно захлопотала бывшая одноклассница, напрочь позабыв многое из своего прошлого. Причем, забыла только плохое. А из хорошего у них было общее советское детство и школа, в которой они проучились до восьмого класса. Сона потом перешла в знаменитую Бюль-бюлевскую музыкальную школу, говорят, у нее был талант пианистки. Дружить – не дружили, но пару раз бывали в одной компании, когда за Соной начал ухаживать брат Эльчина. Но жених однажды заикнулся о том, что его семья не очень приветствует их брак, считают, что Сона не ровня ему. Сона при этих словах просто встала со скамейки и ушла, разом прекратила отношения. А потом вышла замуж за симпатичного, простого парня, заводчанина. Во дворе ходили слухи, что за время семейной жизни она несколько раз беременела. Но в живых остался всего один ребенок, сын Ильяс, появления которого она ждала целых семь лет, и потому боготворила его и очень им гордилась. «У меня хороший сын», – говорила она соседям. «Хороший сын – не профессия», – обычно парировала Нара.

Действительно, не профессия – это дар свыше.

Сейчас Нара могла признаться себе в том, что счастливые глаза несостоявшейся родственницы, ее неизменная улыбка и их всегда жизнерадостный сын, наряженный с ближайшей толкучки, почему-то всегда вызывали в ней стихийную зависть.

Сейчас же ей хотелось лишь одного – просто «забаррикадироваться» чужим несчастьем от своих проблем, еще раз удостовериться в том, что ее собственное горе все же не так глубоко по сравнению с горем Соны. Бывшая одноклассница в этом плане давала ей надежду – в этой жизни, пока она не достигла своей последней черты, все еще можно поправить…

– Заходи, милая, у меня сегодня такая радость! Ильяс первую получку принес! – глаза Соны светились от гордости за сына. – Представляешь, говорит, я же мужчина, значит, тоже должен в дом деньги приносить! Вот он у меня какой! Ах да, чай!

Сона суетилась, шутила, не переставая, рассказывала о своем сыне Ильясе.

– Так он заботится обо мне, не разрешает тяжести поднимать. Недавно со школы пришел, а я молоток достала, хотела дверцу починить. А он как начал меня ругать: мама, что у тебя, мужчин в доме нет?!

Она вдруг как-то странно посмотрела на Нармину и снова забеспокоилась.

– Кстати, а где он? У меня что-то сердце заболело… А материнское сердце всегда чувствует, когда с ее ребенком что-то не так. Где он? Он же за хлебом вышел… А почему ты плачешь? – Сона участливо заглянула в глаза гостье.

Слезы у той, непроизвольно вырвавшись, хлынули потоком.

– Да проблемы дома. С сыновьями, – призналась Нармина.

Она знала, что Сона именно тот человек, которому можно довериться полностью, поэтому рассказала ей все. Словно старые верные подруги они сидели на уютной, чисто прибранной маленькой кухне, и Нармина изливала свою душу. Как врач, она понимала, что сознание нездоровой женщины работает избирательно, и все услышанное пройдет сквозь «сито» восприятия – она поймет только то, что готова принять ее психика, что вместится в формат ее определенного, остановленного периода жизни.

– Ой, Нармина, сыновья наши подрастают, – с улыбкой мечтательно произнесла Сона после того, как Нармина умолкла. – Дай Аллах им здоровья! Дай Аллах, чтобы судьбы у них сложились счастливо! Чтобы дом был крепкий, жена верная да детишки здоровые. Остальное – суета! Главное – здоровье и лад в семье! Ну и, конечно, в мире! С другими странами дружить, с соседями особенно! Недаром у нас говорят, что близкий сосед дороже дальнего родственника! Ты согласна со мной? Все будет хорошо, поверь мне! Страна у нас огромная – все в мире уважают! И сыновья хорошие. Мы должны просто поддерживать их и благословлять на хорошие дела. Всему, чему могли, мы их уже научили: уважению к старшим, к людям, терпению, трудолюбию… дальше они уже сами пойдут по жизни, а наше материнское дело – молиться за них…

«А мы могли бы быть хорошими подругами, – подумала Нара. – Возможно, тогда и у меня, да и у нее все сложилось бы иначе»…

– Что ждет их там, во взрослой жизни? – вздохнула Сона. Ее слова, не встречавшие преград, сыпались, словно из рога изобилия. Нара, уставившись в одну точку, думала о своем, а Сона, как положено хозяйке дома, взяла инициативу в разговоре в свои руки. Надо отметить, что речь ее не была нарушена, в ней находили отражение вполне здравые мысли, которые ограничивали лишь временные рамки, установленные в ее сознании.

– Мы с Ахмедом иногда разговариваем на эту тему, – ее улыбка слегка резанула своей искренностью сердце Нары. – Не зря ведь растили, хочется, чтобы у них все хорошо было. Чтобы, не дай Бог, никакой войны не случилось, чтобы только добрые люди их окружали. Вот как сейчас. А то вон что в Афганистане творится… у соседки сына там ранило… совсем инвалид теперь, а деньги за это не такие большие платят. Как мужику семью держать? Но я слышала, Ильяса все равно не возьмут в Афганистан, он же у нас один в семье ребенок, на войну таких не берут. Единственный кормилец. Если что – прямо в райком пойду, такой скандал устрою, а то и в Москву поеду…

Сона говорила долго, почти беспрерывно, иногда вскакивала и заботливо подливала Наре чай, подкладывала конфеты. Наконец умолкла – устала говорить. Присела, обмахиваясь краем шали. Отпила из расписной джехизной[1] чашки, припасенной для торжественного чаепития, и, взглянув на Нармину, с затаенной радостью сообщила:

– Нара, представляешь, а наш Ильяс первую зарплату домой принес. Говорит, я же мужчина, значит, должен зарабатывать… – она говорила с придыханием, счастливо прижав руки к груди. С нежностью посмотрела на Нару, которая сидела, уронив голову. Сона погладила ее по руке. – Дай бог и твоим детям, Рашадику и Самирчику, вырасти достойными людьми…

– Я пойду, – поспешно поднялась Нара, не в силах больше выслушивать историю о столь замечательном сыне. – А ты ложись, отдохни пока.

Сона как будто только и ждала этого предложения. Послушно прошла в комнату и начала укладываться на диван.

– А можно я у тебя еще немного посижу? – все же вернулась Нара с порога. Представила, что ей предстоит увидеть и услышать дома.

– Нарочка, мы же соседи! – укоризненно произнесла Сона. – А хочешь, в спальне ложись, отдохни тоже. Что-то у меня голова как будто начинает болеть.

– Я посижу немного, потом уйду, дверь захлопну...

– Если Ильяс или Ахмед вдруг придут – у них свои ключи, ты не пугайся…

Нармина вдруг подумала о том, как было бы хорошо и ей вернуться в тот мир, когда «деревья были большими», дети – маленькими, солнце – ярким и любвеобильным, где не было войны, потерь и разочарований…

– Все будет хорошо, Нарочка, – ласково произнесла Сона перед тем, как окончательно заснуть. – Иншаллах!

Нара при этих словах повернула голову и слабо улыбнулась:

– Счастливая ты…

…Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. В поле ее зрения попал парень, тяжело прохромавший к остановке – издалека парнишка и ее Самир были очень похожи, даже, наверное, одного возраста.

***

Когда парнишка обернулся, на лице, даже с такого расстояния, Нара заметила шрам. Парень заметно волновался: то присаживался на скамейку, то вскакивал, едва вдали показывался очередной автобус. У Нармины невольно сжалось сердце при виде раненого молодого парня, явно прибывшего с так называемой линии соприкосновения – в народе эту линию называют не иначе, как линией фронта…

[1] Джехиз (азерб.) – приданое невесты.

…Сколько жизней безвинных было забрано на этой проклятой разделительной линии: юные мужчины, дети, старики… и это в то время, когда люди рассуждают о глобализации мирового пространства, высоких технологиях и демократии. Гарабах – словно позабытый цивилизацией остров, где, вопреки логике и смыслу, людей продолжают убивать – методично, с поразительной регулярностью и привязкой к тем или иным событиям. Большинство понимает, что межнациональная ненависть раздувается искусственно, а кого-то совершенно не волнует, что она уносит жизни и ломает судьбы тысяч семей по обе стороны разделительной полосы… Инструмент манипуляции. Наверное, здесь неуместен вопрос, почему никакие международные институты демократии и миротворческие организации, авторитетные звезды политики и вся адекватная часть мирового сообщества четверть века не могут повлиять на то, чтобы восстановить территориальную целостность Азербайджана – затушить этот тлеющий смертоносный фитиль. Если это настолько сложно сделать, то становится страшно от внезапного просветления – от мысли: насколько мы все беспомощны, и в каких неумолимых руках сосредоточено мировое господство…

Парень в очередной раз присел на скамейку, вытянул больную ногу. В один момент его лицо исказила гримаса боли – когда он попытался выпрямить ее в колене до конца. Продышавшись, со злостью стукнул по непослушной конечности.

Выходившие из автобуса оглядывались на уставившегося в одну точку парнишку, на его прислоненную к скамейке палку, и с пониманием проходили мимо. Старик, заметив съежившегося парня, решительно направился к нему.

– Сынок, что с тобой? Что случилось, скажи как отцу своему. Деньгами помочь не могу, конечно, пенсия не та, но, может, совет мой пригодится.

– Нет, нет, ничего, все нормально, большое спасибо, отец, – парень спрятал красные глаза.

– Из Гарабаха? – указал глазами на палку старик.

– Да.

– Много наших полегло, скажи честно? – старик спрашивал о последних апрельских кровопролитных событиях, которые обсуждались в каждой семье. Он заглянул в глаза бойца.

– Да, отец. Но трусов среди них не было ни одного. Все случилось внезапно, просто накрыло огнем…

– Да упокоит Аллах души шехидов. А ты чего здесь сидишь такой несчастный? Мы должны всем врагам назло жить! И процветать! И радоваться! А Гарабах все равно будет наш! Я знаю, что говорю! Аллах справедлив! Вы – наши дети – даже большие патриоты, чем мы! Вы вернете землю своих прадедов. Иншаллах, успею в родные места наведаться, на отцовскую могилу сходить.

Парень опустил голову. Старик похлопал его по плечу.

– Ну, ну, солдат не должен показывать слабость. Особенно перед женщиной.

– Да, отец. Спасибо, отец, – машинально отвечал парень, но на последней фразе словно осекся, даже обиделся слегка. – Какой еще женщиной?

– Ее ждешь? – старик улыбнулся, махнул вперед рукой и засеменил восвояси. Парень оглянулся и от неожиданности подскочил на месте.

Это была Она, о встрече с которой он грезил с той самой минуты, как пришел в сознание! Девушка подошла, подняла упавшую палку и протянула ему. Они сдержанно поздоровались и некоторое время стояли, держась за палку и глядя друг другу в глаза. Первой пошевелилась она:

– Я молилась за тебя, – прошептала тихо. – Я чуть не умерла от страха, когда узнала, что ты без сознания… я молилась… я хотела приехать в госпиталь, но отец запер меня дома, сказал, что убьет, если я его опозорю…

– Мало того, что бедный, еще и калека, да? – со злостью сказал парень и резко выдернул из ее рук палку. – Пока еще не поздно, послушай своего отца.

Она улыбнулась какой-то жалкой улыбкой, на лбу ее прорезалась скорбная морщина, и глаза наполнились слезами. Не удержалась, протянула руку и провела по шраму на его щеке. Он тут же поймал ее тонкую руку и прижал к губам.

– Как я ждал этой минуты, – его голос звучал взволнованно и глухо. Он изо всех сил старался держать себя в руках, не хотел показывать слабость женщине, которую любил больше жизни. – Ты не представляешь, что ты значишь для меня… только ради тебя я вернулся к жизни, только мысли о тебе помогли мне выкарабкаться, клянусь…

Он оглянулся на группу высыпавших из автобуса пассажиров, с интересом, перемешанным с сочувствием, глазеющих на парочку. Но девушка, казалось, никого вокруг не замечала. Он жив! Он с ней! И отныне они всегда будут вместе!

– Не произноси больше никогда этого слова «калека», – слышишь! В моих глазах ты самый сильный, справедливый и честный мужчина! Отец все поймет. Обязательно поймет! Просто он переживает за меня… за нас… – она не отрывала своей руки. - Я люблю только тебя! Я согласна бежать с тобой! Я вверяю тебе свою жизнь!

– Клянусь, что никогда не обижу тебя и всегда буду защищать!

Так, поклявшись друг другу в любви и верности прямо под открытым небом, на остановке, они открыли новую страницу своей жизни, уже совместную.

– Пошли! – парень решительно обнял девушку за плечи, и она, казалось, больше не в силах сдерживаться, не обращая внимания ни на его сильную хромоту, ни на косые взгляды, счастливо прислонила голову к его плечу. Красивые густые волосы рассыпались, скрыв крепко держащую ее мужскую руку, всю в свежих глубоких шрамах...

АЯЗ МАМЕДОВ

Встреча

Рассказ

За долгие годы я впервые покидал Азербайджан. Возраст берет свое, и у меня, как и у многих, возникли проблемы со здоровьем. Врачи настоятельно рекомендовали выехать на «воды». Не знаю, будет ли мне какая польза от этого лечения, но, тем не менее, я все-таки купил путевку и вылетел в Ессентуки. В аэропорту Бина ко мне, поздоровавшись, подошел человек, лицо которого мне показалось очень знакомым, но где и при каких обстоятельствах я с ним встречался, припомнить не удавалось. Поняв, что я не могу вспомнить его, он, представившись, сказал: «Подполковник Бабаев Азад. Вы меня не помните, а я вас никогда не забуду». Я вспомнил его, и, извинившись, спросил: «Кого-нибудь провожаешь, Самедыч, или сам куда летишь?» Оказалось, что летим мы одним рейсом до Минвод. Пройдя регистрацию, таможенный и пограничный контроль, мы наконец-то уселись в свои кресла. Мы говорили и говорили, вспоминая годы армейской службы. Обсуждали причины наших неудач в войне. А на главный вопрос – «Почему?», который висел в воздухе, но так и не был задан, в общем-то, напрашивался ответ: «Мы так и не научились ненавидеть врага. Во многом мы схожи, много у нас общего, и очень многое нас связывает. Однако благодаря этой войне у нас, азербайджанцев, стало возрождаться национальное самосознание». Самолет, набрав высоту, перешел на ровное гудение двигателей, а мы, как давние друзья-товарищи, рассказывали друг другу о том, как у нас складывалась жизнь после так и не закончившейся войны. Так, за разговором, шло время, а я вспоминал события тех, уже далеких дней.

Летом 1992 года на Агдаринском направлении фронт дал трещину. Армянские силы были смяты и беспорядочно отступали. Азербайджанские части вышли к Сарсангскому водохранилищу, откуда рукой подать до Ханкенди, но почему-то остановились, прекратив развивать наступление. Позже говорилось, что поступил приказ о прекращении наступления, хотя кто отдал такой приказ, установить не смогли. Командиры утверждали, что приказ поступил от Министра обороны, а сам Р.Газиев наотрез отказывался от этого. Передовая часть, не получив поддержки ни справа, ни слева, была вынуждена отступить, и теперь уже наши войска беспорядочно отходили. Короче, план наступления провалился. Но рассказ мой не о том, а о событиях, последовавших после этого. В этих боях было взято в плен много армянских солдат, попавших в окружение. Часть из них привезли в расположение батальона самообороны, где раньше дислоцировалась советская воинская часть. Мне не приходилось бывать в этом военном городке в мирное время, и когда я приехал сюда в первый раз, то обратил внимание на чистоту и порядок в нем. Складывалось впечатление, что я в обычной воинской части советских времен. Это было тем более заметно и потому, что во многих расположениях БСО подобного порядка я не встречал. Трудно было поверить, что батальоном командовал не кадровый военный, хотя я знал, что у командира в заместителях – офицер, подполковник Бабаев А.С. В те дни каждый командир батальона

самообороны считал себя чуть ли не Главнокомандующим, а здесь командир прислушивался к мнению своего зама, уважал его за профессионализм, ну и конечно, не дай Бог кому-то неуважительно отнестись к нему. Что греха таить, к нам, к кадровым военным, после января 1990 г относились если не с предубеждением, то, по крайней мере, с подозрением. Здесь же чувствовалось полное взаимопонимание. Сам командир пользовался уважением, непререкаемым авторитетом, и авторитет своего заместителя поднял до должного уровня. Почему я так подробно остановился на личности командира, вы, уважаемый читатель, сейчас поймете. Звали этого человека Лоты Али (блатной Али). Близкие, доверенные люди обращались к нему почтительно: «Гядяш» (в современном понимании – тот же блатной, а в истинном значении – старший брат), все остальные – Али-бей. Большую часть своей жизни Али провел в заключении, заработав там туберкулез, а за пять лет, как освободился после последней отсидки, он обзавелся семьей, растил сына. Поговаривали, будто «короновали» его в далекой Сибири, но сам он никогда не говорил о прошлой жизни, да и вообще не любил говорить о себе. Странно. Для людей его «профиля» – было чуть ли не долгом чести как можно больше рассказать о себе всяких небылиц, а этот не любил. Но если начинал говорить, то с ним было интересно общаться. Правда, такой винегрет получался – сочетание «фени» с литературным языком, азербайджанского языка – с русским. Да и по-русски он говорил хоть и с акцентом, но правильно. Было странно и непривычно видеть бывшего уголовника читающим. Я был приятно удивлен и не поверил своим глазам, когда впервые встретился с этим человеком. Он сидел за столом в командирском кабинете и читал. Что бы вы думали? В жизни не догадаетесь и не поверите. Это был журнал «Роман-газета», Анатолий Иванов, «Вечный зов». Интересно? Уголовник, хоть и бывший, из азербайджанской провинции, читающий «Вечный зов». Скептики, наверное, и сейчас скажут: «Не может быть», – и, тем не менее, это так. На мой вопрос: «Откуда это?», он просто, будто стесняясь своего увлечения, ответил: «Здесь в библиотеке полно валяется. От русских осталось. Вот взял – интересно». А уж как доставал он Бабаева, когда принимался за чтение общевоинских Уставов. Тот был готов бежать хоть на край света, лишь бы не слышать его вопросов: «А почему так? А почему эдак?» Но был вынужден терпеливо рассказывать и объяснять Али и значение для части Устава гарнизонной и караульной службы, и каков должен быть порядок в расположении части, в казарме, и т.д., и т.п. Так не служивший ни одного дня человек познавал воинскую науку. Он не любил пустопорожней болтовни, и главным для этого человека было слово чести. Для многих честь имеет свое, искаженное представление, а Али ни разу не отступился от данного слова, даже тогда, когда сам понимал, что сказанное им однажды может ему здорово навредить. До сих пор ходят досужие разговоры о том, что азербайджанцы, якобы, формировали целые подразделения из уголовников и направляли их в зону боевых действий. А сзади, чтобы уголовники не разбегались, шли заградотряды. Все это – ерунда. Не было у нас ни смертников-уголовников, ни заградотрядов. Действительно, многие, и я в том числе, не раз предлагали ввести систему заграждения, но наши предложения не нашли понимания по одной лишь, но существенной, причине. Азербайджан – маленькое государство, население которого так перемешалось, что в любом районе найдутся или родственники, или близкие люди. Так что Али, пожалуй, был единственным уголовником, которого я знал лично.

В тот день подполковник Бабаев, забрав данные о пленных, закрылся с машинисткой в своем кабинете, чтобы подготовить сопроводительные документы для от-

правки их в Баку. Все время, пока Азад готовил документы, он ощущал какую-то необъяснимую тревогу. Перед глазами возникал образ любимой женщины, уехавшей с сыном в 90-м году. В последнее время он часто вспоминал их, мысленно разговаривал с ней, но сегодня попытался отмахнуться от воспоминаний, как от назойливой мухи: «Отстань, не до сантиментов сейчас. Почти сто человек оформить надо», – незлобиво думал он. А ее образ все не уходил, представая перед глазами то веселым и радостным, то с тоской и укоризной во взгляде. Девушка-машинистка автоматически щелкала по клавишам машинки, а он так же автоматически читал ей данные о пленных. Вдруг Азад осекся, замолк, словно с разбега натолкнулся на камень. Он побледнел, на лице выступил холодный пот, а лист бумаги, который он держал в руках, мелко задрожал. «Что с вами, Азад-бек?» – только и успела спросить девушка, а он уже выбежал из кабинета. Он бросился в сторону автопарка, где содержались военнопленные. Там его глазам предстала картина: группа молодчиков, окружив нескольких пленных, избивают их, передавая от одного к другому. Азад ворвался в круг, матерясь, с яростью стал наносить удары. И армяне, сбившись в кучу, и азербайджанцы опешили, с удивлением смотря, как подполковник с остервенением наносит удар за ударом. Из группы пленных выскочил паренек лет девятнадцати-двадцати, попытался встать между дерущимися, уговаривая: «Не надо, дядя Азад». Парню тоже попало под горячую руку, но он так и не отстал от них. Мы с командиром подбежали к парку, когда военнопленных уже закрыли в боксе, а дерущихся разняли.

Бойцы все еще никак не могли понять, какая муха вдруг укусила их подполковника? А командир рассудил все по своему: «Отныне ни одного военнопленного никто пальцем не тронет. Хотите драться – деритесь в бою. Бить безоружного, не смеющего дать отпор – не позволю». На этом инцидент был исчерпан – для солдат, но разговор с Азадом имел продолжение на повышенных тонах. Придя в кабинет, командир строго спросил заместителя:

– В чем дело? Что это ты себе позволяешь?

Еще полностью не остыв от драки, Азад в возбуждении ошарашил нас:

– Командир, разреши отпустить Бабаяна Азата!

– Как это отпустить? Куда отпустить? Ты в своем уме?

– Я никогда ничего не просил, а сейчас прошу! Я готов остаться вместо него.

– Да что тебя так «плющит»? Кто он тебя: кум, сват, брат, или еще кто?

– СЫН.

– Как сын? Что ты несешь, какой сын, чей сын?

– Мой. Это долгая история, но поверь, Али-бей, я не шучу.

– Да уж какие тут могут быть шутки? А хоть представляешь себе, как это будет выглядеть? Да узнай кто, – чуть поостыв и посмотрев в мою сторону, сказал Али, – с нас Сурет три шкуры спустит.

Я вмешался в разговор, заявив, что если это касается меня, то я ничего не знаю.

– Да при чем здесь вы? – в сердцах сказал Али бей. – Кроме вас в батальоне три сотни бойцов. Иди пока, Азад. Я подумаю. Не надо вносить его фамилию в списки.

Понурив голову, подполковник вышел от командира и пошел в свой кабинет. Работа не шла. Девочке приходилось перепечатывать листы по два-три раза, но она, понимая, что что-то неладное происходит с подполковником, не роптала. Тем временем в кабинете командира мы обсуждали возникшую ситуацию, думали, как можно выйти из положения, ведь о количестве пленных уже доложено. Командир приказал привести к нему военнопленного Бабаяна А.А. Минут через пятнадцать-двадцать в ка-

бинет ввели молодого человека, совсем еще мальчишку, в разорванной «афганке», с кровоподтеками на лице, чуть прихрамывающего, какими-то неуловимыми чертами похожего на заместителя. В нем не было бравады и той беззаботной удали, какие бывают присущи юношам его возраста, но в глазах не было и страха. Было видно, что он осознает свое положение, положение военнопленного, и не ждет снисхождения, даже притом, что здесь совершенно случайно повстречал близкого друга своих родителей, почти родного человека. Али-бей разрешил парню сесть и стал расспрашивать его о жизни, где родился и вырос, где сейчас живет, как и при каких обстоятельствах познакомился с подполковником Бабаевым, и т.д.

И парень рассказал, что родился он неподалеку от Баку, на острове Артем[1]. Там и детство его прошло. Что в 1986 году его отец, Бабаян Артур Геворгович, погиб в автомобильной катастрофе, а мама, Каринэ Суреновна, преподает русский язык в школе. Январь 1990 года в рабочем поселке острова Артем прошел относительно спокойно. Не было погромов, избиения армян и прочей вакханалии. Там ходили вдоль улиц разрозненные группы крикунов, а по обеим сторонам дороги собирались толпы зевак, и армяне в том числе. Они с мамой все же были вынуждены уехать из Азербайджана в Пятигорск, где и живут в настоящее время. В Пятигорске среди армян, особенно среди беженцев из Баку, хорошо поработали агитаторы, вербуя людей для защиты интересов так называемой «исторической родины». В этом году, сказав матери, что поехал поступать в институт в Саратове, парень улетел в Ереван, а оттуда в Гарабах. Мама не знает, что он в Гарабахе. В первом же бою попал в плен. Дядю Азада знает с пеленок. Он – друг детства отца и семьи, и хотя имя у парня армянское (Азат – землевладелец, феодал), но назван он в честь друга (Азад – свободный). Из его рассказа мы поняли, что парень запутался и что, хотя они с матерью и были беженцами, в нем нет ненависти, приехал в Гарабах он больше по романтике, чем из патриотизма. Командир приказал отвести пленного к старшине. Старшина с недовольством выполнил распоряжение командира. Парень умылся, побрился, был накормлен и заперт в бывшей «секретке». Командир вызвал к себе заместителя.

– Вот что, Азад. На ту сторону фронта пацана я не отпущу, но если сможешь увезти его к матери, возражать не стану. Вот только как ты сможешь армянина провезти через всю республику, не возьму в толк.

– Спасибо командир, до конца дней своих буду за тебя молиться. А вывезти я его смогу. Это моя проблема.

– Две недели тебе хватит?

– Думаю, даже много будет.

Подготовив соответствующие документы на случай, если по пути кто-то проявит бдительность (по дороге их действительно останавливали несколько раз), в тот же вечер, переодев юношу в гражданскую одежду, Азад вывез его на своей «Ниве» в сторону Баку. Всю дорогу они ехали молча, перекинувшись от силы парой-тройкой фраз. За четыре с лишним часа дороги у Азада перед глазами прошла вся его неустроенная жизнь. С Артуром Бабаяном их связывала многолетняя дружба. В далеком детстве, когда родители привели ребят в первый раз в школу, их по иронии судьбы, а может быть, ради шутки, посадили за одну парту – Бабаева с Бабаяном. Мальчики, как и все их сверстники, были изрядными шалунами. Часто доставалось им от учителей, когда мальчишки бедокурили. Хулиганил Артюша, доставалось Бабаеву, хулиганил Азад – наказывали Бабаяна. А классные шутники прозвали друзей «Бабабаяновы».

[1] название острова Пираллахи в советские годы

У обоих мальчиков и судьбы были схожими. Обоих воспитывали только мамы. У Азада отец умер, когда ребенку было всего пять лет, а у Артюши – когда ему не исполнилось семи. Ребята, закончив восьмилетку, ушли из школы, чтобы пойти работать, но оба пришли в ту же школу, только в вечернюю. Днем работали в газокомпрессорном цехе, а вечером учились в ШРМ (школа рабочей молодежи). Как-то знойным летним воскресным днем друзья решили пойти на море. Оседлав свои старенькие велосипеды, они поехали к скалам. Уже проехав значительную часть пути, ребята нагнали двух девчат, идущих в том же направлении. Остановившись, они разговорились с девушками, познакомились и предложили подвезти их к морю. Девчонки не отказались и, усевшись на задних сиденьях, поехали с друзьями на Кожемякины скалы. После поездки к морю развезли они подруг по домам, но эта встреча положила начало большой любви, такой, которую не всем Бог дает. Прошли месяцы. Азад и Карина уже не могли обходиться друг без друга, и в любое свободное время были рядом. Все было в их отношениях хорошо, вот только мать Карины, Нора, никак не могла смириться с привязанностью дочери. Время от времени срывалась она на нее:

– Ну что ты нашла в этом турке? Смотри на Артура, чем не пара. Да и любит он тебя.

А Карина свое:

– Никто мне не нужен.

Артур с Леной тоже встречались, но ничто их не связывало. Его больше тянуло к Азаду с Кариной, и ребята видели, что Артюша стал явным воздыхателем Карины. Видели, и относились к этому с пониманием, только изредка подшучивая над ним. Тем временем парни окончили школу и решили пойти по стопам отцов. Артур хотел стать моряком, а Азад военным.

Весна выдалась буйной. Пышным цветом цвели сирень и акация, а молодежь искала выхода энергии, накопившейся за зиму. Эта весна становилась точкой отсчета взрослой жизни. Они были покорены, подавлены неизбежностью; он – ее лаской и нежностью, она – его притягательностью и мужской властностью. Невольно вспоминаются стихи Асадова: *Не вычеркнуть из нашей жизни прочь,\ ту ночь, Что стала многому причиной.\ Ты стала женщиной в ту ночь,\ И в ту же ночь я стал мужчиной.*

Так и наши влюбленные отдали себя во власть любви. Им хотелось огромного счастья, всего и немедленно. То нежно, то страстно целуясь, находясь вне времени и пространства, они дарили счастье и всепоглощающую любовь друг другу. Не знали еще тогда Азад и Карина, что эта их первая незабываемая ночь любви, долгие годы будет сниться им обоим, а разлука попутчицей пройдет через всю их жизнь.

На следующий день Карина провожала Азада в Ленинград, а через некоторое время с радостью поняла, что станет матерью. Артюшка тенью ходил за Кариной, ведь только ему она смогла рассказать о своем счастье, и ему же с огорчением говорила, что от Азада не пришло ни одного письма. Когда положение Карины стало заметно, а приступы тошноты стало все труднее и труднее сдерживать, Артур, взяв букет цветов, пришел в дом Севумянов просить руки их дочери. Свадьбу, чтобы скрыть позор, сыграли скромную, а Азад так и не приехал на каникулы ни зимой, ни летом. Мама сообщила ему, что Карина вышла замуж за его лучшего друга. Только получив, лейтенантские погоны, Азад впервые за четыре года приехал в родные края. Ему хотелось, чтобы мама смогла с гордо поднятой головой пройтись по улицам, держа его под руку. А еще ему хотелось посмотреть в глаза своим бывшим близким людям и, пожелав им счастья, уйти навсегда. Взяв соседский мотоцикл, Азад поехал без всякой

цели по улицам родного острова, а колеса привели его к дому любимой. Во дворе дома, наслаждаясь вечерней прохладой зорко наблюдая за сыном, игравшим в песочнице, сидели Карина и Артур. Завидев Азада, Карина забрала мальчика и скрылась в подъезде дома. Артур медленно подошел к Азаду, протянул было руку, но вдруг, передумав, крепко обнял друга.

– Разреши поговорить с ней.

– Нет, сначала со мной!

Артур, ничего не скрывая, все рассказал ему, и единственное, о чем попросил, чтобы сын не узнал, что он не родной его отец. Оставив малыша дома, Карина спустилась к мужчинам, а Артур из приличия отошел в сторону. Она, с укоризной и обидой обратившись к Азаду, спросила:

– Почему ты не писал мне?

От возмущения у него перехватило дыхание:

– Как это не писал? Да я каждый день отправлял тебе по два письма. Это ты не ответила ни на одно из них.

Карина, поняв все, вдруг заплакала и обняла Азада. Уходя, Азад попросил разрешения иногда навещать их, когда будет приезжать в отпуск. Он обещал никогда не нарушать покой в их доме. Дома у Карины с матерью был серьезный разговор. Мать призналась, что все письма, приходившие от Азада, она перекупала у почтальона и тут же, разорвав на мелкие кусочки, выбрасывала в мусорный бак. Только находясь на смертном одре, мать подозвала Карину и тихо прошептала: «Прости». В каждый свой отпуск Азад непременно навещал близких ему людей. Видя, как Азад балует малыша, закидывая его игрушками, как играет и сам весело заливается смехом, Артур испытывал нечто похожее на ревность. Но он отгонял от себя это чувство, уверенный, что Азад скорее умрет, чем нарушит данное им слово.

Азад так и не женился, а на слова матери, Зулейхи ханым, что пора жениться, обзавестись семьей, он неизменно отвечал:

– У меня есть семья!

1990 год разорвал невидимую нить, связывавшую Азада с семьей Бабаян.

«Нива», надрываясь редуктором, прошла через весь город, и они, свернув на галинском повороте, выехали на артемовскую трассу. Азат дремал на заднем сиденье, пока машина не стала подпрыгивать на асфальте ближе к поселку Гала. Дорогу испортили танками в 90-м, когда колонна маршем прошла в Баку. Начиная от артемовской дамбы и до самой остановки у дома Азада Азат, приникнув в ночной темени к стеклу машины, не мог оторвать взгляда от с детства знакомых родных мест. На глаза навернулись слезы, и он только и смог спросить: «Почему, дядя Азад?» А что он мог ему ответить? Поздней ночью Азад переполошил мать, разбудив ее. Зулейха ханым, перепугавшись из-за позднего приезда сына, открыла дверь и тут же запричитала:

– Что случилось, сынок? Почему так поздно? Ты здоров, не ранен? А кто это с тобой?

– Все нормально, мама. Видишь, я жив и здоров, а это Азат, сын Артюши, – както с нажимом на последние слова, сказал Азад.

Зулейха ханым, узнав парня, обняла, поцеловала его и повела в кухню. Сразу же стала накрывать на стол, а сама все расспрашивала его о матери, о том, как он встретился с Азадом, да и вообще, как он оказался в Баку. Было заметно, что Азату трудно говорить на эту тему, но он не мог обмануть пожилую женщину, и честно рассказал ей, как Азад вывез его из плена. Она, слушая, только приговаривала:

– Вай, Аллах! Вай, Аллах!

Пока парень рассказывал бабушке свою историю, Азад не прекращал курить одну сигарету за другой, а позже, когда на столе дымилась ароматная яичница с помидорами, попросил у матери водки. Выпив почти полный стакан, немного поковыряв в тарелке, он сказал:

– Завтра, иншаллах, отвезу Азата к матери.

Зулейха ханым просила, чтобы они хотя бы два-три дня погостили дома, но, поняв всю бесперспективность своей просьбы, ушла в комнату стелить постель. Азад так и не смог уснуть, лишь изредка проваливаясь в тревожную дрему. На следующий день, приготовив каких-то отваров из трав, Зулейха ханым принялась лечить внука, пытаясь убрать следы кровоподтеков с лица. А вечером, собрав кое-какую снедь, проводила гостей в путь.

Дорогу они прошли без приключений. Позади остались около полутора суток пути, они давно проехали Махачкалу и Нальчик, и только на въезде в Пятигорск Азад разбудил сына, чтобы он указывал дорогу к дому. К вечеру «Нива» остановилась возле калитки небольшого садика. Карина, такая же красивая, как в юности, только чуть раздобревшая, поливала цветочную клумбу. Услышав, что неподалеку остановилась машина, а следом раздался скрип открывающейся калитки, она повернула голову на звук и выронила лейку. По дорожке к ней спешил улыбающийся сын, а чуть поодаль шел хмурый Азад. Обняв сына, Карина вдруг все поняла без слов. Оставив недоумевающего сына, она, разрыдавшись, крепко обняла Азада и стала целовать его. Он, осторожно поглаживая ее голову, беззвучно шевеля губами, повторял: «Карочка, Кара, моя кара». Из глаз мужчины скатилась скупая слеза, а когда к ним присоединился сын, Азад, уже совершенно не стыдясь, не смог их сдерживать. Эту ночь Азад наконец-то провалился в глубокий сон. А на следующий день, едва раскрыв глаза, он увидел молча сидящих, как у больничной койки, и смотревших на него самых дорогих в его жизни людей – любимую женщину, жену, и единственного сына. Они счастливо улыбались ему, и первое, что он услышал, проснувшись, было:

– Доброе утро, отец.

Пока Азад спал, Карина рассказала сыну об их любви, пронесенной через всю жизнь. Про дружбу Азада и Артура и о том, каким благородным был Артур, ни разу за всю жизнь не укоривший Карину.

«Уважаемые дамы и господа! Наш самолет приземлился в международном аэропорту Минводы».

…Быстро пролетело время, и я с тоской подумал, что так и не узнаю продолжения истории жизни этих замечательных, ставших для меня такими близкими, людей. Через минут тридцать-сорок, мы, пройдя надлежащую процедуру при пересечении границы, получив багаж, выходили из терминала. Из толпы встречающих в нашу сторону побежал мальчонка лет семи с громким криком: «Дедушка приехал! А почему няня Зуля не приехала?», – он бросился на шею Азаду и крепко поцеловал его.

– Это мой внук, Артюша. А этого парня, вы, наверное, помните. Будьте знакомы – мой сын, Азад.

ТАИР ТАИСОГЛУ

Письмо из Москвы сыну Кенану

Дел – не счесть.
Как и я, все торопятся тут.
И осенние ветры протяжно поют,
все прошиты дождями насквозь.
В день дождливый
мне как-то пришлось,
словно зонтик, березу
раскрыть над своей головой.
И угрозу
промокнуть
отвел я зеленой листвой.

А напротив
стояла девчонка
и зонтик держала в руке.
Я подбежал,
словно был с нею накоротке,
и вдвоем
под зонтом
мы сумели тот дождь переждать.
(Бог избави, увидела б мать!..)

Ты мне вспомнился, сын.
У меня ты один,
мои руки – твой зонт.
И пока я живу,
твоя жизнь – словно сказ наяву.
Без испуга, без мук
изучай
говор жизни живой.
Не закрыт
зонтик рук
над твоей головой.

Перевод И.ТАРАСЕВИЧА

Седина

В моих волосах залегла седина –
Как день, мою ночь озаряет она.
В моих волосах память множества дней,
И годы одежду кроят из волос.
Но что ж мне печалиться о седине:
Седúны отца мне носить довелось!..

Перевод Д.ЦЕСЕЛЬЧУКА

Люди не лгут

Люди не лгут –
не могут они
обманывать друга...

Разве что, море
может меня обмануть –
волны выносит на берег
и разбивает...
(Так, мол, я радо тебе,
что вдребезги бью стаканы...)

Нет, простые стаканы не лгут,
не могут они
обманывать друга.
Звон бокалов лишь
может меня обмануть,
коль понадеюсь я
после банкетного трёпа
на ветерок попутный...

Нет, ветры не лгут,
не могут они
обманывать друга.
Листопады – те
могут меня обмануть...
(Говорят, сумрак ущелий
лучше теней от чинар...)

Нет, ущелья не лгут,
не могут они
обманывать друга.
Только монеты
в подобных ущельям карманах
могут меня обмануть.

Нет, копейки не лгут,
не могут они
обманывать друга.
Лишь номера телефонов
могут меня обмануть.
И друг с другом схожие видом
гостиницы в районах,
жилые микрорайоны
с домами, как спичечные коробки...

Нет, и спички не лгут –
не могут они
обманывать друга.
Вспыхивают, загораются вмиг –
и вмиг остывают...
Нет, огоньки их не лгут,
не могут они
обманывать друга.

Лишь огоньки цветущих гранатов
могут меня обмануть –
на дороге меня остановят,
от стоп-сигнала машины
прикурят свои сигареты...

Мир не лжет –
не может он обмануть
своих обитателей.
Ложь подобает стаканам,
морям и ветрам,
гостиницам, микрорайонам
номерам телефонов...

А людям – нет.
Люди не лгут –
не могут они
обманывать друга...

Перевод И.ТАРАСЕВИЧА

Время, ускользающее из рук

На запястье левой руки
была у меня
затяжная, противная рана.
С чувством тоски
я глядел на нее неустанно –
думал, чем чаще смотреть,
тем быстрей заживет.
А народ
полагал – я смотрю на часы.
– Который же час?.. –
поминутно меня теребили.
– Как твоя рана?.. –
казалось, они говорили.
Не знал я, о времени что отвечать,
и о ране своей приходилось молчать...

На месте зажившей раны
остался след,
как браслет
от часов.
Часов больше нет.
Вопрошающих нет
голосов.
Время не ценишь?..
Минут не запрешь на засов,
так и останешься сам –
только след
на запястье у жизни.

Перевод И.ТАРАСЕВИЧА

Зависть

Радостно видеть,
как вода, пробивая себе дорогу,
течет тихо-мирно.
Уносит мусор, отбросы –
и мир меняется на глазах...
Завидую водоносам!..

Перевод Д.ЦЕСЕЛЬЧУКА

Проделки осени

Разрезал айву...
Вот те на!.. Что за вид!..
И косточки сгнили, и мякоть вокруг.
Как будто бы пепельниц пара лежит,
куда вытряхали вчерашний чубук.
То осени дело... Да что говорить,
Что тратить напрасно пустые слова!..
Вот если бы бросила осень курить,
Была бы айва золотая жива.

Перевод И.ТАРАСЕВИЧА

Сбежал

Я твой образ нарисовал
в зеркале застоявшейся лужицы.
Но упала в нее звезда –
и тебя унес звездный свет.
И теперь этот свет по ночам
светится в светляках...

В ворохах ярко-желтой листвы
вывел я твой портрет.
Ветер,
руками взмахнув,
разметал их –
как стекло, разбилось в осколки
твое лицо...

На трепещущих листьях ивы
снова вычертил я твой лик.
В тот же миг опустилась туча –
иву скрывши серой стеной...
Ни метро,
ни звезде,
ни ветру –
не верю!..
Даже осени!..

Наконец-то сбежал я от них –
вдвоем с девушкой...

Перевод Д.ЦЕСЕЛЬЧУКА

* * *

Как только юная весна
откроет по́ры
земных дорог,
спешащих в город;
как только реки обовьют
ее сияющую шею;
как только...
Отдам тебе все, что имею!..
Взгляни на празднество деревьев –
потягиваясь,
они отряхивают сон.
А свет течет со всех сторон,
как бы в гигантское окно...
Пирует на лугу лесничий –
пьет прошлогоднее вино.
Еще далек тот день,
когда тяжелых листьев сень
напасть болезни поразит,
и чистый воздух огласит
лихая, шалая стрельба.
Еще далек тот день...

Перевод М.ТАРАСОВОЙ

Когда-то

Я старого друга увидел сегодня,
Забытого, старого друга.
Когда-то я с ним дружил.
Когда-то жила девушка
На улице, где он жил.
Когда она проходила по улице,
Озарялась улица светом,
И были прекрасны люди с той улицы,
И ласковы были при этом.
А у меня ничего не было,
Кроме собственной головы,
И за их доброту безмерную
Я не смог отплатить, увы.
А теперь уже спилены все деревья,
Где я когда-то дрожал, леденея.
Своими рогами каждое дерево
Прижимало осень к звездному небу.

Когда-то на улице, где жил мой друг,
Жила девушка...

Перевод Д.ЦЕСЕЛЬЧУКА

Цветы

Задумчиво стоял он в тех горах...
Подножья гор сейчас в живых цветах,
Как будто Пушкин их взрастил
Под сенью гор.
Они не увядают
С давних пор.
В Москве
Жду очереди
На прием к Пушкину.
И цветы
Ждут очереди...
А в Шемахе
Сейчас вспоминают Сабира.
Там, вдалеке,
Тоже в цветах,
Его могила...
Из Баку цветы принесли поэты.
Кажется, здесь, на Тверской,
Кладбище «Семь куполов»,
Где Сабиров прах
Весь в цветах –
В диких цветах,
В полевых цветах...
Месяц май.
В Шемахе –
Праздник Сабира...

Перевод И.ТАРАСЕВИЧА

* * *

Из ствола тополя
пробился пучок травы,
поднялся на вершок –
ищет солнце,
снова и снова – солнце.
Эта зелень
на мертвом дереве,
похожая на младенца,
когда, ничего не ведая,
он улыбается смерти.

Перевод Д.ЦЕСЕЛЬЧУКА

РОВШЭН КАФАРОВ

Ромашки в сырой ветоши

Рассказ

Город давно остался позади, и поезд, то замедляя, то увеличивая ход, двигался вдоль леса нефтевышек – их черные скелеты вздымались над иссохшей землей, плавясь вдали на фоне зеленоватого неба. Пары йода и мазута лениво втягивались в размягченный мозг, и где-то в затылке осторожно заскребла своими коготками нарождающаяся мигрень. Со скуки закурив, я высунулся в окно, но тотчас отпрянул с обожженными суховеем глазами. Сзади сидящая пожилая пассажирка в келагае недовольно фыркнула. Очевидно, несмотря на мои старания, сигаретный дым все же попадал в вагон. Я встал и пошел докуривать в тамбур.

В колеблющихся слоях дыма в тамбуре стояли трое. Два босоногих пацана и сутулый старикашка в латаных штанах и замызганной расстегнутой рубашке навыпуск. Старик говорил по-азербайджански что-то очень всех троих забавлявшее. Пацаны озорно перемигивались меж собой, с видом суперменов пуская дым из ноздрей и ожесточенно сплевывая на пол; сквозь нагрудный карман тенниски одного из них просвечивала темно-синяя пачка дорогих сигарет.

Кончив говорить, старик заметил меня, – его бесцветные глаза несколько мгновений изучающе глядели в мои.

– Молодой человек, – наконец обратился ко мне он, сверкнув металлическими коронками, – у вас не найдется «аврорки» для старого человека? – безупречная азербайджанская речь старика совершенно не вязалась с его типично славянской внешностью.

Я молча протянул ему пачку, наблюдая, как с какой-то приниженностью он вынимает из нее сигарету, прикуривает от своей, тлеющей у самого фильтра, и, бросив затем окурок на пол, наступает на него ногой в драном ботинке.

– Это я понимаю – сигареты! – воскликнул он, с восхищением глядя на дымящуюся у него между пальцами «аврору». – Не то, что эти фильтровые!

Пацаны, как видно, были всерьез задеты этим замечанием, один из них презрительно цыкнул. Старика, однако, это нисколько не смутило – на его благодушной физиономии не появилось ни тени.

– Сами-то вы, верно, из города едете? – вновь обратился ко мне он.

Я утвердительно кивнул.

– Конечно, разве в такую жарищу в городе усидишь! Сейчас самое время на дачу, абрикосы-помидоры кушать... Да на море купаться.

Я выкурил сигарету до половины и, щелчком отправив ее в раскачивающиеся на сквозняке двери вагона, вернулся на свое место.

После сигареты очень хотелось пить, и, закрыв глаза, я думал о студеной, чуть солоноватой воде из нашего дачного колодца.

И с этой мыслью задремал под мерный перестук колес. Очнулся я от резко ударившего мне в нос винного перегара. Напротив сидел сутулый старик из тамбура.

– Молодой человек, извиняюсь, не найдется ли у вас еще сигаретки для старого человека? – спросил он, упорно обращаясь ко мне по-азербайджански.

– Свои надо бы иметь, – пробурчал я по-русски и протянул ему сигарету.

– Свои, это верно… – произнес он смущенно, уже тоже по-русски. И вдруг расцвел в улыбке, в которой было что-то пронзительно детское, несмотря на унылый вид металлических и гнилых зубов. – Только курить-то я почти что бросил. Дочка не велит. Говорит, эмфизема у тебя, нечего тебе, старому хрену, заразу эту глотать. Вот я потихоньку и бросаю. Но до конца – никак не могу: привычка…

– Ясно, – сказал я, принимая от него свои спички и сигареты; женщина в келагае, разразившись самыми изысканными мусульманскими проклятиями, пересела на другое место.

– Да, – продолжал между тем старик. – Целых уж пятьдесят с гаком как курю. Мальчишкой был, бычками с дружками баловался. А потом, как подрос чуток, так только «Герцеговину Флор» – других не потреблял. Вы таких, верно, не пробовали, их сейчас не выпускают.

– Выпускают еще, – уточнил я; но, увлеченный табачной темой, старик явно не услышал моих слов.

– Да, полвека уж, – не унимался он. – Так что вот даже ради дочки не могу сразу с заразой этой повязать. Сейчас-то я к ней, к своей дочке, еду. Я к ней каждое воскресенье езжу. Увидев меня, обрадуется, кинется на шею и – целовать. А сама утячим своим носиком вертит: курил или не курил? Мигом на чистую воду выведет!

– Вы бы тогда хоть ореха мускатного пожевали или еще чего-нибудь, а то ведь и за опохмел от дочки попадет, – сухо посоветовал я.

– Оно верно, попадет, – с видимым удовольствием согласился он и опять широко улыбнулся. – Это уж как пить дать. Дочка у меня, у-у, строгая, вся в свою покойницу мамку. Влепит будь здоров, только пух полетит. Ну, да беда – не беда. Главное, что из любви влепит. Любовь… это самое важное. – И, спохватившись, добавил: – А потом у меня ж ведь и причина уважительная имеется. Внука первого обмывал. Как же, спрашивается, тут без опохмела? Никак без него нельзя. – Сказал и поднес к губам сигарету. На руке было вытатуировано «Санька», под этим – разрубленная надвое змея. Сквозь расстегнутую до пояса рубаху видно было, что грудь его и оба предплечья также украшены наколками. Среди них, помимо традиционных, вроде «*не забуду мать родную*», были и замысловатые, выполненные, несомненно, большим мастером этого дела.

– Дочка моя год назад замуж вышла. За армянина, – продолжал старик. – Солидный такой, животастый. Инженер. Большая шишка. Она с ним в кооперативном доме живет, с туалетом, кухней и ванной, – все отдельно и в голубом кафеле. У них там даже лифт имеется, только все время барахлит…

Нам как-то рассказывали о подобной разговоромании на лекции по психиатрии. Этим, по-моему, еще страдает один известный спортивный комментатор.

– … Вначале я, конечно, против был. Все-таки немолодой, и семья была. А потом думаю, пускай себе живут, если любят. Правильно я говорю?

– Золотые слова.

– Любовь – это самое важное. Я так считаю.

– Верно считаете.

– Вот вы, молодой человек, любите кого-нибудь?

– Пробовал – не получается.

– Это плохо, – с трогательным участием заметил он.

– Хуже не бывает.

– Ну, а мамка-папка хоть имеются?

– В полном комплекте.

– Их-то хоть любите?

– Периодами.

– Видать, хорошие они у вас, если не шибко их любите, – мудро заключил он, взглянув на меня, как мне показалось, с некоторой укоризной. И тут же опять ударился в лирику. – Вот и у меня мамка была. И я тоже не шибко ее любил. И обижал. И она меня, царство ей небесное, часто обижала. А померла она, так весь я перед ней виноватый вышел. Живые всегда перед мертвыми виноваты. Это вы не сейчас, после поймете. После, после… – И он неопределенно махнул рукой. – Как же вы живете?! – помолчав, снова встрепенулся он. – Ведь у вас и деток, верно, тоже нет?

– Нет у меня ни любви, ни деток. От всего пока бог миловал.

– А-а!… – протянул он, безнадежно тряхнув головой. В его бесцветных глазах стояли слезы.

Он сидел, печально глядя в окно, и от нечего делать я стал рассматривать его наколки. Какие-то разрозненные, тщательно выписанные на груди синим фрагменты. Протянутая сквозь решетку раскрытая рука с сидящим на ней, готовым взлететь голубем. (Композиция совсем в духе Гуттузо). На животе – массивное надгробие со всевозможными аляповатыми ухищрениями в стиле провинциального рококо, увенчанное пухленьким херувимом. Под могильным памятником было еще что-то, но что именно, я не мог разобрать из-за складки на животе. И, наконец, в самом низу этой нательной гравюры зеленели кипящие валы, довольно искусно скопированные с Айвазовского.

В продолжение всего остального нашего совместного пути мы не вымолвили ни слова. Нефтяные вышки остались далеко позади: за окном широкой полосой стлался песчаный берег моря. Впереди, расплываясь в полуденном мареве, призрачно белел безымянный полустанок. Поезд, скрежеща, начал сбавлять скорость.

– Извините, молодой человек, – ожил вдруг старик. – Мне сходить сейчас, не дали бы вы еще одной сигаретки старому человеку? – голос у него утончился, как у плачущего.

– Вот, возьмите, что осталось, – предложил я в неожиданном порыве великодушия. – Мне близко, а на даче у отца добра этого…

– Нет, нет. Мне одну только, про запас. Я ведь бросаю. – Он заложил сигарету себе за ухо и встал. – Благодарствую, благодарствую, – сказал он напоследок, два раза низко мне поклонившись.

При этом из оттопыренных карманов его штанин выпали маленькая пухленькая книжка и еще что-то, завернутое в тряпицу. Старик, болезненно морщась, силился присесть на корточки, чтобы их подобрать, и мне пришлось ему помочь.

Книжка лежала раскрывшаяся на пожелтелом титульном листе, и, поднимая ее, я успел прочесть – *Молитвословъ. Москва. Синодальная тіпография. 1898*. Затем, преодолев брезгливость, я прикоснулся к влажной ветоши, из которой тут же выглянули три больших свежих ромашки с коротко обрамленными стебельками. Цветы напоминали удивленные детские глаза.

Старик бережно принял из моих рук оброненные им вещи и, еще раз сказав «благодарствую», хромающей походкой направился к тамбуру.

Через минуту, когда поезд остановился, я вновь его увидел: припадая на одну ногу, он медленно шел по платформе. И состав уже дернулся, готовый сняться с места,

когда, внезапно повернувшись, он быстро засеменил обратно.

– Любовь – это самое важное! – воскликнул он, застыв напротив моего окна с разведенными руками, в которых держал молитвослов и завернутые в ветошь цветы. – Самое, самое важное!

На левом его боку явственно виднелась цепочка круглых рубчиков – такими, вероятно, бывают следы автоматных очередей, – косо спускавшаяся к бедру. Рядом с верхним из них, там, где раньше была складка, я успел прочесть, было вытравлено шесть слов: *Прости отца родного моя единственная Катюша*...

Поезд тронулся и помчался вперед, делая мягкую дугу вдоль побережья, и я еще долго видел сутулого старика, одиноко бредущего по песчаной дороге к морю. Метрах в трехстах справа от него лепились друг к другу убогие лачужки запустелого рыбацкого поселка.

СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Слово прощания

2018 год запомнился несколькими оглушительными утратами – и для человеческой культуры, и для нашей азербайджанской словесности.

14 октября не стало Ровшэна Кафарова, сына моего, увы, тоже рано ушедшего друга и близкого коллеги – по жизни и по литературе.

Ровшэн был талантлив во многих аспектах. Наше знакомство состоялось ещё при жизни его матери, Солмаз ханым Садырхановой, – на литературном вечере в театре при 23-й бакинской школе. Вечер был посвящён событиям в Чили: перевороту и гибели Сальвадора Альенде.

На сцене выступал Ровшэн – подыгрывая себе на гитаре, читал поэму Фикрета Годжи в моём переводе. Солмаз с явной гордостью представила мне своего молодого сына-красавца.

Увы... Это уже в далеком прошлом.

Последовал длительный период творчества Ровшэна, – он писал хорошую прозу (повесть «Адмиральский трап» и рассказы), успешно выступал с публицистикой – откликнулся яркой, взволнованной статьёй о гибели вертолёта, подбитого над Гарабахом армянскими боевиками.

Ровшэн работал в газете «Бакинский рабочий», позднее, до последних дней, являлся штатным сотрудником «Литературного Азербайджана».

У меня ощущение, что сын моего покойного друга не успел свершить то, что мог бы... Ведь он был искушён в стихосложении, переводил наших поэтов, его музыкальный дар сказался и в сочинении текстов и музыки песен (прозвучавших и не прозвучавших в эфире)...

Уход Ровшэна – это потеря для меня, умножающая мою боль от пережитых в этом году и ранее личных потерь.

Тофик Агаев, мой друг и коллега, видел Ровшэна в последние дни и, по словам Тофика, Ровшэн выглядел неухоженным, одиноким...

На этой нотке не хотел бы завершить прощальное слово. Ровшэн унёс с собой в своём неприкаянном чутком сердце ещё одно горе, ещё одну невосполнимую боль – боль по рано погибшему сыну Марату (тёзке моего рано ушедшего сына)...

Мне остаётся вобрать в себя этот тяжкий груз потерь и нести его до конца отпущенного мне земного срока.